



Алексей Ухтомский
ЛИЦО ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА

Г. М. Цурикова

**Лицо другого человека.
Из дневников и переписки**

«ИП Князев»

2008

УДК 94 (47+57) (093.3)
ББК 63.3 (2)+72.3 (2)

Цурикова Г. М.

Лицо другого человека. Из дневников и переписки /
Г. М. Цурикова — «ИП Князев», 2008

Алексей Алексеевич Ухтомский (1875–1942), физиолог с мировым именем, обладал энциклопедическими знаниями в области философии, богословия, литературы и оставил свой след в «потаенном мышлении» России 1920-х-1930-х годов. Князь по происхождению, человек глубоко религиозный, он пользовался неслучайным авторитетом среди старообрядцев в Единоверческой церкви. Кардинальные нравственные идеи А. А. Ухтомского, не востребованные XX веком, не восприняты в должной мере и сегодня. Настоящий сборник, включающий дневниковые записи А. А. Ухтомского и его переписку, призван обратить внимание вдумчивого читателя на эту оригинальную интеллектуальную прозу.

УДК 94 (47+57) (093.3)
ББК 63.3 (2)+72.3 (2)

© Цурикова Г. М., 2008
© ИП Князев, 2008

Содержание

Дальнее зрение	6
1	7
2	10
3	14
4	19
5	24
6	27
7	30
8	33
9	36
10	41
Решительно отвергнуться себя	45
1896	45
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Алексей Ухтомский
Лицо другого человека.
Из дневников и переписки

© И. С. Кузьмичев, составление, 2008

© И. С. Кузьмичев, Г. М. Цурикова, вступит. статья, 2008

© Издательство Ивана Лимбаха, 2008

© ИП Князев

* * *

Дальнее зрение

Алексей Алексеевич Ухтомский – явление в русской культуре XX века уникальное.

Физиолог с мировым именем, он отличался разнообразием гуманитарных интересов, энциклопедической начитанностью в области философии и литературы, свободным видением многосложных нравственных, социальных, эстетических и религиозных проблем. Его эпистолярное и мемуарное наследие – подлинное откровение. Оно сохранилось, к великому сожалению, далеко не полностью и, кажется, по сей день еще не оценено в должной мере.

Ухтомский не был писателем, но с юных лет и до последних дней жизни испытывал «странную потребность» закреплять в слове напряженный процесс духовного самопознания. В литературном наследии Ухтомского нет художественных произведений, однако его письма можно рассматривать подчас и как страницы эпистолярного романа, и как фрагменты философских трактатов, и как лирическую исповедь. Дневниковые записи Ухтомского – нерегулярные, вроде бы случайные, разбросанные в рабочих тетрадях и на полях прочитанных книг, – самоценны и внутренне последовательны.

В сущности, оставленное Ухтомским литературное наследие – это самобытная интеллектуальная проза: ей присущи мощь и ясность авторской мысли, талант живописания, искренность чувства, психологическая проницательность и вдобавок ко всему – «дальнее зрение», ощущение грозной поступи истории.

1

Алексей Алексеевич Ухтомский родился 13 июня 1875 года в пошехонском захолустье – в сельце Вослома Ярославской губернии, детство провел в Рыбинске, хранившем корни допетровской, старообрядческой культуры, происхождения был княжеского, от Рюриковичей. Учился Ухтомский в городской классической гимназии, а тринадцати лет был отправлен в Нижний Новгород, в Кадетский корпус, который когда-то кончил его отец. Образование в корпусе давали недурное. Уже там он привык систематически штудировать труды по философии и увлекся математикой. В девятнадцать лет был выпущен из корпуса с отличием, но офицером не стал, навсегда, впрочем, сохранив военную выправку.

Чрезвычайное обстоятельство окрасило его детство и юность. Несмышленным малышом Алешу Ухтомского выделили из родительской семьи и при здравствующих отце и матери поручили одинокой сестре отца Анне Николаевне, тете Анне, женщине самоотверженно религиозной. Отношения с родителями, в первую очередь с матерью, – властной, деловой, меркантильно-ухватистой, – надломилась. Тетя Анна до самой своей смерти в июне 1898 года, по сути, заменяла мальчику мать и оставалась для него не только «единственным в мире родным человеком», а и непререкаемым примером духовного самоустроения.

Азбуку он разбирал по житиям святых и древним священным книгам. Таинство молитвы, красота церковного богослужения пестовали восприимчивую душу мальчика. Воспитывал его тихий, заповедный мир верхневолжской старозаконной России с ее диковатой, нетронутой природой и упрямым, кержацким складом человеческой природы. Личность слабая, безвольная, глядишь, потерялась бы в той и могучей, и убогой стихии. Ухтомский же, с малолетства приученный к самодисциплине, рано ощутивший связь с Богом, с Космосом ли, с Высшим Разумом, – выстоял, повинувшись неясной *мелодии*, уже тогда зазвучавшей в нем.

Внутренняя сосредоточенность пробудила интеллектуальную независимость, и работа мысли стала особенно интенсивной, когда из домашнего уюта он попал в казарму. Углубивший душевное одиночество перелом оказался дополнительным стимулом к познанию – и природы, и самого себя.

Годы обучения в Кадетском корпусе совпали для Ухтомского с тем странным возрастом кончающегося отрочества и начинающегося мужества, когда человек сталкивается с определяющим жизненным выбором, когда «волнение знания, любопытства, теоретизма» (В. Розанов) заставляло великие умы отворачиваться от шумных утех и прятаться в «монастырь философии», когда человек, доведя до предела темперамент в себе, испытывал «сладость отречения»: в молитве отрока-послушника либо во всяком воздержании ради устремления к добру, к идеалу христианского совершенства. Здесь – исток аскетизма Ухтомского, который он сам истолковывал как самоотрицание во имя идей, отказ от «приятного» из высших нравственных соображений. Не аскетизма по принуждению или подражанию, а того естественного аскетизма, когда, по словам В. Розанова, человек, и совлекши с себя плоть, любит мир именно во плоти, во всех его видах и формах, «излучаясь величайшей нежностью» ко всей природе.

Провидческая мелодия, с детства не смолкавшая в Ухтомском, на сей раз – как не однажды и в будущем! – подсказала выбор, и по окончании Кадетского корпуса он поступил на словесное отделение Московской духовной академии, где его еще больше заинтересовала неотделимая от религиозного сознания русская идеалистическая философия, признанным выразителем которой в России был тогда Владимир Соловьев.

Обращение к науке, к философии и вместе с тем – к Богу показательно для Ухтомского. Порог Духовной академии он переступил «уже вкусивший прелести мысли», полагая: «Раз начав думать, человек уже не должен „обращаться вспять“; он должен искать спасения в мысли же». Об этом, обозначая свои жизненные цели, писал и в дневнике в 1897 году: «...

мое истинное место – монастырь. Но я не могу себе представить, что придется жить без математики, без науки. Итак, мне надо создать собственную келью – с математикой, с свободой духа и миром. Я думаю, что тут-то и есть истинное место для меня».

Его влекла «анатомия человеческого духа до религии включительно», интриговали границы метафизики – те рубежи, «до которых мы можем научно думать». Избрав темой диссертации «космологическое доказательство бытия Божия», он посчитал верным придерживаться того же «способа и направления мысли, какой создал науку о природе». И при этом отстаивал принцип автономии науки, готовый оберегать ее «от нападений богословствующего разума».

Соотношение *естественного* и *сверхъестественного* с неизбежностью подводит науку к вопросу: как относиться ей к идее Бога? Какова связь между Природой и Богом, понятием столь же абсолютным? Ответ на этот кардинальный вопрос могло дать исследование религиозного опыта.

«В Духовной Академии, – вспоминал впоследствии Ухтомский, – у меня возникла мысль создать *биологическую теорию религиозного опыта*. При этом основой религиозного опыта заранее предполагалась известная физиологическая роль его, т. е. аргіогі предполагался и затем разыскивался биологически целесообразный момент богопочитания. Научная задача предвидела свое разрешение в том, чтобы благополучно найти этот физиологически утилитарный момент и схематизировать относительно него существующие материалы, характеризующие в истории религиозный опыт каких бы то ни было форм, эпох и людей».

Отличное обучение в Академии, основательный багаж в области истории и философии, литературная одаренность и талант говорить с кафедры сулили Ухтомскому завидные перспективы. Став магистром богословия, он получил предложение работать в архиве Московского Кремля, – но что-то его останавливало. «Задача моя, задача моей научной карьеры, – убеждал он себя в дневнике в августе 1899 года, – именно выяснить... психологическое существо „религиозной жизни“, т. е., попросту, величайшего из примирений с действительностью – христианства, где крепкий и смиренный сердцем Сильный и Большой всех зовет под кров свой, всех труждающихся и обремененных...»

Брат Александр, в монашестве Андрей, усиленно побуждал Алексея следовать его примеру либо избрать духовно-учебную службу, и чтобы решить вопрос: какая общественная функция наиболее отвечает его собственному предназначению, Ухтомскому потребовалось проявить волю.

Будучи уверен, что он «в отношении общественной жизни – лишь созерцатель», он перепроверял себя. «Мое поступление на духовно-учебную службу, – записывал в дневнике, – было бы понятно мне тогда, если бы я имел что-либо внести туда новое и лучшее, если бы я заменил собою там человека, не способного сделать то, что могу и умею сделать я. Но ничего такого, чего *лучше* меня не могут сделать мои товарищи по высшей школе, – в учебной и воспитательной практике духовной школы не существует. Поэтому мое поступление туда будет по меньшей мере неосмысленным действием». И добавлял: «У меня есть причины не идти в монахи, и очень веские... Я не считаю себя в силах – идти в священники; да к тому я никогда не чувствовал никакой склонности...»

И все-таки после смерти Анны Николаевны, опечаленный горем, Ухтомский совершил пешее паломничество в Оптину пустынь, а потом подался в подмосковный Иосифо-Волоколамский монастырь и провел там полгода, воочию наблюдая тамошнюю сирую паству и убеждаясь, что монашеский постриг – никак не его предназначение.

«Дух веками создававшегося монастырского безделья подавляет меня, – записывал Ухтомский в дневнике. – Чувствую себя вышибленным из моей милой научной колеи. Затхлая, пропитанная вековой пылью, идущая вот уже который век из кельи в келью атмосфера прозябания, растительной жизни на лоне серой русской природы и серого русского армяка,

атмосфера, которой дышали поколение за поколением, одурманивает, оглушает, душит: трудно становится слово сказать».

Размышляя о психологических причинах, побуждающих человека замыкаться в монастырских стенах, Ухтомский связывал эти причины, в частности, с тем, что человек может чувствовать свою неспособность справляться с житейскими тяготами и моральными страданиями, какие доставляет ему общество, и «предпочитает лучше сильно и глубоко, и „во всю мочь“ жить интенсивно, чем слабо, и разбросанно, и жалко жить экстенсивно».

При этом человек, избирающий для себя путь монашества, должен быть абсолютно честен перед собой в объяснении своего поведения, не испытывая досады или гнева на внешний мир. «Конечно, – и отцы понимали это лучше всего, – замечал Ухтомский, – искусственное ограничение жизни очень требует своего *оправдания*, но оправдание *есть*, если есть в глубинах сердца настоящее чувство, что ограничил жизнь, потому что не достоин ее и если бы не ограничил, дескать, было бы хуже». Стоит монаху утратить первоначальную уверенность и смиренную простоту, он, в понимании Ухтомского, «становится уже ниже человеческого достоинства, и – как выражались неоднократно отцы – демоном». Такой монах, «сидящий в келии своей с сомкнутыми устами и Бога не помнящий, похож на разоренный дом, находящийся вне города, который всегда полон всякими нечистотами», такому монаху, по словам Антония Великого, «грозит эта жалкая, плачевная картина – стать оставленным людьми и праздным, разваленным домом, в котором только завывает ветер да живут совы...»

Ухтомский не утратил надежды «оправдать молитву из начал науки», найти правду и свет в «келье с математикой». Он чувствовал: грешно уходить от жизни в одинокое самоуслаждение духовными благами – и потому искал конкретного полезного дела и активного поприща. Ему по сердцу был деятельный аскетизм мирянина. Поведенческий статус «монаха в миру» лучше всего соответствовал его душевному составу. Во всяком случае, именно о таком статусе Ухтомский позже упоминал применительно к себе неоднократно.

Вызвав бурное негодование брата, иеромонаха Андрея, Ухтомский отправился поступать в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета. Однако лицам с духовным образованием сфера естественных наук официально была заказана, поэтому Ухтомский в 1899 году попадает сперва на восточный факультет по еврейско-арабскому разряду – с тем, чтобы год спустя перевестись на естественное отделение.

В двадцать пять лет он опять с охотой сел на студенческую скамью, учился усердно и усидчиво и через два года утвердился ассистентом на кафедре физиологии животных, у профессора Николая Евгеньевича Введенского, который привлек Ухтомского не только фундаментальными идеями, не только тем, что был «упрямым искателем новых дорог» в физиологии, – но и всем своим обликом. Выходец из далекого вологодского села, Н. Е. Введенский, сын деревенского священника, был человеком скромным, неразговорчивым, по-крестьянски недоверчивым, жил замкнуто, без семьи, но сохранял душевную теплоту и отзывчивость к родственникам и преданным науке ученикам. С учениками и помощниками Н. Е. Введенский был строг, не терпел малейшего подтасовывания фактов в угоду абстрактным гипотезам и вместе с тем был снисходителен и «нравственно деликатен». Что-то духовно близкое уловил Ухтомский в своем учителе с самого начала их сотрудничества, – и в итоге не ошибся.

В эту пору Ухтомский познакомился с Варварой Александровной Платоновой.

2

Они встретились осенью 1905 года. Их переписка охватывает более трех с половиной десятилетий.

Она жила в родительской семье на 13-й линии Васильевского острова, на углу Большого проспекта. Он холостяком – недолго на Тучковой набережной, а потом еще ближе к ней, в казенной квартирке на 16-й линии: когда обосновался на кафедре физиологии. Там он так и прожил всю жизнь, даже академиком не изменив своей «вышке», своему «закуту», там и скончался в блокадном августе 1942 года.

В глухие, трагические времена два этих строгих и благочестивых человека исповедывались друг другу, и переписка их, сравнимая со страницами эпистолярного романа, запечатлела удивительную историю их взаимоотношений – от светлого порыва к совместной жизни в молодости до драматических превратностей в дальнейшем и единения на почве религиозной, запечатлела потаенную хронику их любви – в высшем, христианском ее понимании, когда духовное родство оказывается дороже житейского счастья¹.

Как-то в 1915 году Ухтомский объяснял Варваре Александровне: «Мне, знаете ли, важно для самого себя высказаться – оформить свои мысли. В былое время это лучше всего удавалось мне в своем дневнике, когда говоришь сам с собой! Но теперь мне не удастся писать дневник, так что нередко я записываю туда для памяти самому себе то, что уже написал в письмах. Пиша письмо, я впервые улавливаю свою мысль, смутно бродящую в душе, так что тут же, в мыслях, впервые и самому себе раскрываю я некоторые стороны своей внутренней жизни. И в особенности это происходит, когда я пишу Вам... Здесь я столько же беседую с Вами, сколько с самим собой...»

Такая вот откровенность. И неслучайно письма, заменявшие ему дневник, Ухтомский просил не выбрасывать. В них он запечатлелся как доверчивый собеседник и как аскет, как трибун и как затворник, заботливый друг и человек до старости по-детски ранимый, в любой момент готовый «оградить себя молчанием» от мелочной суеты и бесовской сутолоки ради «своей беседы с Высшим».

В письмах к Платоновой он почти не касался физиологической науки, для этого находились другие адресаты, их было немало. А Варвару Александровну не ахти как интересовала университетская среда и позже ничуть не смущало его солидное положение академика. Он всегда оставался для нее Алексеюшкой, родным, близким по духу, по вере и по судьбе. Она же – словно воплощала его собственную душу, и разговаривать с нею в письмах было ему – как дышать.

Переписка Ухтомского с Платоновой «переводима» на общедоступный язык лишь до известной степени. Их письма друг другу, во всей полифонии эмоциональных оттенков, намеков, скрытых смыслов, были до конца вняты им одним, и то, что на посторонний взгляд может показаться странным и вызвать недоумение, для них было нормально и объяснимо.

Письма двоих, – предназначенные только им самим. И любой, даже самый тактичный, читатель рискует оказаться непрошеным гостем в укромном духовном убежище. Читатель обычно пристрастен, будь он светским либо церковным человеком. Но осторожно прикасаясь к трепетной жизни, запечатленной в этих письмах, приблизиться к ее поучительной правде могут – и традиционно верующий мирянин, и ученый-натуралист, и забывший Бога незадачливый наследник того самого российского интеллигента, которому частенько адресовались гневные инвективы Ухтомского.

¹ Подробнее об этом см.: Кузьмичев И. С. А. А. Ухтомский и В. А. Платонова: Эпистолярная хроника. СПб., 2000.

Модель поведения, им предложенная, отнюдь не универсальна, и у каждого, кто попытается применить ее к себе, неизбежно найдутся к нему претензии. Для канонически верующего православного – Ухтомский скорее всего вольнодумец. Для университетского коллеги-профессора – смелый парадоксалист, поставивший на себе небезопасный эксперимент одновременного служения и естественной науке, и Богу. А для всех, кто попросту способен задумываться над вечными проблемами жизни и смерти, над местом и ролью человека в природе, кто размышляет над уроками отечественной и мировой истории, над стихией народных бунтов, Ухтомский останется мощной фигурой праведника и мыслителя, с его колоссальной духовной энергетикой, душевной щедростью и жизнестойкостью.

...Он звал свою юную корреспондентку с осторожной почитательностью по имени и отчеству – Варварой Александровной, сразу же задав в письмах к ней наставительный тон интеллектуальной беседы, дотошно излагал спонтанно рождавшиеся мысли и, явно склонный к назидательности, если не сказать к проповедничеству, внушал ей апостольские максимы. Мог рассказать о глупых дрызгах в родительской семье, о своеволии «бездушной, безгранично эгоистической матери», угнетавшей дочерей мелочной опекой, и заклеить «тупую и слепую злобу проклятого мещанского мирозерцания». Мог пожаловаться на утомление от вздорных кляуз в Никольском приходе и просил подумать, отчего предприимчивость у русского человека сделалась синонимом вороватости, – не есть ли это черта, пробивающаяся в нашей истории с самих собирателей Руси? Он писал ей охотно и обо всем, но с особой настойчивостью пытался донести до Варвары Александровны свое личное представление о «народной вере и Церкви», не «господской и поповской», а истинной – старорусской. Заметил как-то: «Ищет народ. Хочется быть с народной душой».

С присущим ему харизматическим даром внушения, Ухтомский направлял разговор с Варварой Александровной в религиозное русло, в тайне почувствовав, что встретит тут благодатную почву для взаимопонимания. В июле 1908 года, затронув «центральную идею» о том, как человек открывает в истории Бога, он писал: «Кругом нас, в близкой нам окружающей действительности Бога не видно. Мы и все люди – ждем Его, разыскиваем, болеем тем, что в ближайшей действительности Его нет. Его пока все-таки нет. Он – предмет нашего желания и предчувствия, любви, ревности и пр., но Он есть нечто нам уже данное. Это и значит, что мы веруем в Него». Всемирная история, по мнению А. А. Ухтомского, представляет собой «ряды человеческих попыток *осуществить Бога*». Это стимулирующая, творящая идея истории. И на Древнем Востоке, и в Греции, и в Риме движение человечества сказывалось в том, как человек там и тут «осуществлял себе Бога», как «открывался Он ему».

Бог станет ближайшей действительностью, напутствовал Ухтомский Варвару Александровну, когда «царство Божие придет в силу», когда Бог явится перед нами настоящим, судящим нас фактом, а до тех пор Он осуществляется для нас настолько, насколько мы верим и хотим Его осуществления. Поначалу вера в Бога не предполагает никакой принудительности, и лишь постепенно истина и вера «оправдываются в силе» – желаем мы того или нет. Пока мир «течет так, как течет он до сих пор, никогда элемент человеческой воли и свободы – элемент веры – не будет совсем исключен из его истины». Когда же «Бог яве надстанете», предрекал Ухтомский, произойдет грозный перелом, узнанная истина – «это нечто страшное», она судит нас, ограничивает, требует. Нужно осознать: «Бог не субъективная греза души, но – по мере того, как человек открывает и осуществляет Его, – есть стоящая перед нами и судящая его сила». «Это с Духовной Академии, – признавался Ухтомский Варваре Александровне, – и есть моя философская вера, и развить ее – моя надежда...»

Надо иметь в виду: импровизированные рассуждения Ухтомского, какой бы материи он ни касался, тем более обращенные к близкому человеку, чье духовное самочувствие было ему далеко не безразлично, не претендуют на безошибочность толкований и безапелляционность формулировок. Момент сомнения, вероятности, поиска изначален в этих рассуждениях,

они воспринимаются самим Ухтомским в качестве некоего импульса для последующего додумывания, – с этой оговоркой их и надлежит прочитывать.

Эскизность, субъективность, умозрительность иных теоретических построений в письмах к Платоновой придают этим письмам, – на чем Ухтомский настаивал, – откровенно дневниковый характер и ставят их на одну плоскость с заметками в записных книжках тех лет, где он добивался ответа на те же вопросы.

В дневнике 1901–1905 годов (еще до встречи с Платоновой), когда религиозные побуждения Ухтомского, по всей видимости, нередко вступали в противоречие с его мирской практикой, осуществление Бога он связывал в первую очередь со стремлением человека к идеалу христианского совершенства. «Теперь Бог не явен, – записывал он в 1899 году, – не очевиден в мире, но есть лишь *уходящий все вперед идеал* тех, кто „не от мира сего“».

Человеку, определял Ухтомский, дан крохотный участок мировой жизни, где он должен распоряжаться, подобно тому, как «в остальном великом целом распоряжается Бог». От природы «существо зажигающееся», человек грешен и неизменно убеждается, что Бог в своих владениях «распоряжается наилучше», являя собой недостижимый пример. Монаху за святыми стенами можно методически изолироваться от частно-житейских интересов. Куда тяжелее участь того, кто, исповедуя Бога, вынужден в повседневной деятельности погружаться во внешние условия, – и здесь достигая «торжества своего внутреннего мира». Христианский идеал, настаивал Ухтомский, глубок, бесконечен, он лишь предчувствуется и представляется «ревнивым и легко ускользающим в своей сущности». Бдительным духовным зрением человек обязан проникать в эту сущность, иначе «нить грозит легко оборваться и оставить тебя на захолоделом, веками затвердевшем, неподвижном, эгоистически замкнутом и по существу приземисто-консервативном житейском идеале семьи, государства и т. п.»

В письмах к Платоновой разговор о прозревании Бога во всемирной истории, о христианском идеале жизни и роли Церкви в нравственном самовоспитании сопровождается навязчивой мыслью: что есть Бог для России? Ухтомский пристально оглядывал тысячелетнее прошлое страны, оценивал события на рубеже веков с этой точки зрения и не мог побороть в себе тревогу. Процесс развития народного самосознания он воспринимал сквозь призму личного духовного опыта и хотел взвесить долю индивидуальной ответственности за все, чему предстоит быть. Уже вскоре после обескураживающей русско-японской войны Ухтомский ощутил симптомы надвигающегося на страну идеологического раздора, государственной нестабильности и морального разлада, почувствовав себя одиноким в честном стремлении «работать русское дело».

С отчаянием он признавался Варваре Александровне: «Страшно сказать, я привык где-то в самой глубине души видеть в окружающих людях (за немногими исключениями) вредных для России людей. Сидят люди передо мной и болтают, а я на них смотрю и чувствую только одно, что они мне ни в чем не товарищи, ничего общего у меня с ними нет, и надо от них только беречься, т. е. собственно беречь свое дело».

Профессиональное стремление «беречь свое дело» – вопреки всему! – было характерно для гражданской позиции Ухтомского и тогда, и позднее в обстоятельствах поистине катастрофических. Он искал у Варвары Александровны моральной поддержки, готовый усомниться в излишней своей категоричности: «Может быть, – писал он ей, – это только временный упадок русского дела: уж слишком разросся ее организм (т. е. организм России), и от того так расходятся, так чуждаются и не узнают друг друга силы в ее центральной нервной системе. Но Бог даст, рабочие, прежние силы еще возьмут свое. Но возьмут свое они только тогда, когда не будут жить каждая для себя, для своего маленького благополучия в тепленьком семейном уголке».

Упадок, отмеченный Ухтомским, не был, как известно, временным, историческая пропасть крушения нравов едва приоткрывалась, и те социальные драмы, свидетелем которых ему довелось стать, подтвердили крайние его опасения.

Он был одинок в служении не только своему делу, но и своему идеалу «прежней, детской, естественной жизни с легким и прямым духом». Одиночество томило его, то поднимаясь к критической отметке, то утихая и смиряясь. Мечта о такой жизни в любви к ближнему, краеугольный камень которой заложила в нем покойная тетя Анна Николаевна, была зыбкой, влекущей и лишь на маленьких островках, отвоеванных у обыденности, обещала воплотиться в реальность.

Таким островком для Ухтомского и стала В. А. Платонова.

Он быстро углядел в ней столь же одинокое сердце, способное «решительно отвергнуться себя» ради евангельской, бескорыстной любви, и испытал к ней то забытое доверие, какое знал всего однажды. Негаданная радость вновь обрести надежную опору в чутком к тебе человеке, полном энергии и любящим тебя, была божественным подарком, и не случайно их встреча так потрясла Ухтомского.

«Я не знаю, как вышло, – записывал он в дневнике в декабре 1905 года, – что она стала мне так дорога, *наравне с тетей Анной*. Знаю только, что это так стало. И знаю еще, что ее личность связалась для меня с тем свободным, чистым воздухом, который выпал на долю русских людей, – и меня в том числе, – когда мы с верою и преданностью Жизни повторяли: „Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног“... В. А. стала для меня дорогим, несравненным символом этого героического, чистого порыва в Жизни, доверия к Жизни».

Прийдя в университет из Духовной академии, Ухтомский нашел для себя окончательную «точку приложения сил», сделал выбор в пользу науки, однако потребность нравственно оправдать этот профессиональный выбор, согласовав его с идеалом христианского совершенства, оставалась, как оставался открытым и вопрос о «месте свободной воли человека» в мире.

Житейский идеал удобен, эгоистичен и тем опасен для христианина, но «свободолюбие есть ли эгоизм?» – спрашивал себя Ухтомский и отвечал: «Быть свободолюбивым *значит вообще жить*. Вся жизнь, ее прогресс, ее натуральная основа – есть свободолюбие. Свяжите свободу, и вы нарушите жизнь. А если жизнь достаточно сильна, она все равно выбьется из преград, которые вы ей поставите. Поставить сознательную „головную“ преграду жизни – значит стать на путь самоубийства».

Ухтомский не мог не признать: встреча с Варварой Александровной зовет его к ответственным поступкам. Привычное аскетическое самоотречение противилось в нем всплеску горячего чувства. Но «головные» преграды, сомнения и страхи – пусть и колеблясь! – он готов был отмести, и решение напрашивалось само собой.

«Откинув условности и границы, поставленные *случайными, буржуазными моментами жизни*, – записывал он в дневнике 2 декабря 1905 года, – *я чувствую*, что во имя единой великой и истинной жизни имею право питать чувство к В. А., если только я способен и достаточно силен еще, чтобы поднять живое, действительное бремя жизни». И в конце того же месяца: «Я всегда был против женитьбы, ибо чувствовал, что не могу этого сделать свободно. Могу сказать, что относительно В. А. я впервые почувствовал, что могу „жениться“ на ней вполне свободно, даже *во имя моей свободы*».

Тем не менее, время бежало без оглядки, недели складывались в месяцы, месяцы в годы, а вроде бы бесповоротное решение Ухтомского не исполнялось и не исполнялось – под тем или иным благовидным предлогом.

3

На склоне лет Ухтомский вспоминал, что впервые пришел в домик на углу 13-й линии и Большого проспекта в гости к Платоновым в конце октября 1905 года: «Были Женя, Клаша, Машенька, Варенька и Юрий Александрович... пили чай за столиком под картиной, изображавшей Наполеона, прощающегося со своими ветеранами – старыми гренадерами...» Юрий Александрович, брат Вареньки, рассказывал о популярном тогда профессоре, ректоре Горного института Иване Петровиче Долбне, которого Ухтомский знал еще по Кадетскому корпусу, – о том, что тот просил «осязательных гарантий для осуществления правительственных обещаний 1905 года», но советовал не полагаться на совесть, потому что ссылки на нее легко оправдывают любые преступления. Было «обостренно-тревожное время митингов, демонстраций, стрельбы, патрулей», и, стараясь не попадаться на глаза дворнику, Ухтомский пришел тогда «не в студенческой одежде, а в желтой куртке из верблюжьего сукна и в черном картузе приказчиьего типа, – в том самом, – вспоминал он, – в котором я ездил летом того года по Волге и Уралу в качестве делегата от здешней старообрядческой общины...»

После той вечеринки тридцатилетний университетский лаборант в приветливом доме Платоновых выделил среди молоденьких барышень наблюдательную, умную Вареньку, слышную в семье мечтательной идеалисткой. Она была по-институтски образованна, знала французский, служила в бухгалтерском отделе правления Рязанско-Уральской железной дороги, отличалась исполнительностью, аккуратностью, но мысли ее были заняты вовсе не «контролем сборов», чем она ведала в конторе, а стихами Лермонтова и Надсона, Бальмонта и Апухтина, музыкой Шопена и Бетховена, Шаляпиным в роли царя Бориса, художественными выставками и книгами, зовущими думать. О том же Наполеоне. Или о старинных праведниках. И даже сочинениях философского толка – с именами Канта, Владимира Соловьева, Хомякова... Варенька была набожна, посещала церковь при Морском корпусе, молилась истово, искренне отзывалась на чужое горе. Недавно умер ее отец – она его очень любила.

И конечно, Варенька вела дневник, где про Ухтомского записала: «Мы встретились так чудно и странно с ним...» И эта *чуждость*, настороженное восхищение, пленительное чувство чего-то недоступного и вместе с тем неотвратимо тревожащего переполняли ее с первых же дней их знакомства.

Визиты Ухтомского, пожалуй, ни к чему не обязывали, но его увлеченность Варенькой не могла не бросаться в глаза. Родня и подруги, торопя момент, донимали Вареньку вопросами, на которые она не могла ответить, бормоча заученную фразу: «Он очень занят», что было сущей правдой. Ухтомский вел себя весьма достойно, но, как говорится, не по правилам: был в речах своих и письмах горяч, словоохотлив, а в действиях медлителен, ничего определенного не обещал, в то же время не скрывая неподдельной радости при встречах с Варенькой. В воздухе повисало недоумение, а вдохновенная неясность сменялась намерениями вполне внятыми.

Варя мечтала, как они, невзирая на разницу интеллектов и житейские неудобства, будут вместе. «Мне обидно думать, – записывала она в дневнике, – что я должна ждать какого-то „положения“ на его службе, чтобы сделаться его женой. Да, чтобы быть его женой, мне надо и средства и положение, но ведь не женой, не женой я буду ему, не ею хочу я быть и не буду ею, а другом, равным ему человеком, таким же сильным, как он, таким же способным, как он, на труд и лишения товарищем хочу и буду я». Их совместная жизнь, здоровая и цельная, прекрасная «среди книг и мысли», манила ее «как грёза», и Варя уповала на терпение, на свою женскую податливость, надеялась, что Алексеюшка поможет ей «еще больше идти навстречу людям».

Однако счастливые ожидания затягивались, какая-то в их отношениях возникала натужность, и Варвара Александровна, с ее порывистостью и прямоотой, горевала, сдерживая себя. Она старалась и разгадать Ухтомского, и разобраться окончательно в себе, чувствуя, что любит Алексея Алексеевича безоглядно. Терпения ей было не занимать, но настроения ее менялись от свидания к свиданию и от письма к письму.

10 октября 1909 года она записывала в дневнике: «Сейчас, час тому назад Алексеюшка сказал, что нам еще нельзя быть вместе, это значит, что мы не готовы к нашей совместной жизни, пусть так, больше всего я не хочу повредить ему и верю ему, что если нельзя, значит, действительно нельзя, ведь нашей общей жизни он так же хочет, как и я, если еще не больше». Словно подводя некую черту, она сознавалась, что за время их знакомства нередко чувствовала себя «ни то на ходулях, ни то выставленной на подставке». «Я не была я, – признавалась себе Варвара Александровна, – мне жаль было разрушать созданную, как бы заключавшую меня оболочку и страшно хотелось, чтобы Ал. Ал. в действительности увидел меня, а еще больше, еще горячее хотелось, чтобы он любил во мне – меня».

Она и надеялась, и сердилась, и тосковала, и со все возрастающим упорством искала выход, допытывалась у самой себя: что же в итоге приключилось? Куда подталкивает ее судьба? Наблюдая за собой, Варвара Александровна замечала, что ей всегда было неуютно в «большом обществе», перспектива провести вечер в гостиной повергала ее в трепет. «В деревне я одна, та же почти и дома, но в гостиных я другая совсем», – записывала она в дневнике и огорчалась: «Теперь я не бываю нигде, и никто уже меня не зовет, круг моих личных знакомых сужен донельзя, и уже это не круг знакомых, а круг дорогих, родных мне людей». Казалось, она, как и раньше, всех окружавших ее любила, но контакт с ними терял прежний смысл. «Зачем я с ними, чуждая их удовольствий, их стремлений? – спрашивала она. – Уйди я из нашего круга, меня вначале будут жалеть, но обязательно прибавят, а ведь она странная была такая. Я лишняя, я это чувствую все сильнее и сильнее, а мне так и хочется быть ею, но быть действующим лицом, как все наши, я не хочу да и не могу».

Разрыв с кругом сослуживцев и родственников назревал. В нее вселилась великая обида: как быть, когда вольно или невольно обижает нечуткостью самый любимый человек? Душевное томление, отчаянное желание «бежать ото всех дальше, дальше, совсем убежать» загоняло в тупик. «Тоска, опять старая гостья пожаловала! Чем же угощать и как угощать я тебя буду, а? – сокрушалась Варвара Александровна в дневнике и все же надеялась на лучшее. – Нет, нет, тоска ведь не скука, тоска – преддверие хорошего, такую мы ее и примем. Господи, как бы мне, куда бы уйти-то!...»

Уходила она в церковь. И там обретала спасение душевное.

Варвара Александровна по-детски любила праздники. Семейные и церковные. В первый день Пасхи ликовала, когда в храме замечала на веселых лицах отпечаток соборной причастности к чему-то значительному, вечному, поднимающему простых смертных над пустяковыми предрассудками. «Счастливы были они все не тем, что наряд их красивее рядом стоящей дамы, – записывала она в дневнике по свежим впечатлениям, – а тем внутренним огнем, который зажегся в них от праздника общего, соединившего смерть и жизнь воедино». И так ей было там легко, «любились всех и каждому хотелось чего-то еще лучшего». Лица, преображенные молитвой, завораживали вдруг проглянувшей чистотой. И богослужение виделось священным, сказочным действием: «Мнилось, что со звуками, с поднимающимся и пронсящимся вихрем Дух Господень спустился на людей, все нагнулись, и верхушки деревьев преклонились вровень с тоненькой былинкой, люди, птицы, животные, все почуяли силу великую, силу неземную, силу Духа Царя царствующих. Люди XX века пели в это время молитву, положенную на музыку в XII, XIII веках, и чувствовался в ней Дух сильный и могучий, смотрелось на икону и мнилось, что и над художником, писавшим ее, пронесся тот же Дух Бога живого, царящего сегодня в храме». Так растроганно переживала Варвара Александровна церковную службу.

Она внимательно читала духоспасительные книги. Увлеклась по совету Ухтомского «Лествицей». Особо подействовали на нее богословские сочинения Хомякова. Вздошность при стоянии в храме на молитве, потребность исповеди и духовного наущения укрепляли и углубляли ее веру, ее послушание, но этого оказывалось мало, – хотелось, испытывая себя, осмыслить свой путь к Богу. В июне 1910 года Варвара Александровна рассказывала Ухтомскому, что «Лествица» пробудила в ней доселе дремавший трепет перед правдой человеческой жизни. Объясняла ему: прочитай она эту книгу «еще в институте, была бы, пожалуй, в монастыре», да и теперь встретила на ее страницах много пережитого, «близкого и такого родного, такого родного!»

Искренность религиозного чувства обостряла недовольство рутинными богослужениями. Варвара Александровна сопоставляла хомяковское видение Православной церкви с повседневной рутинной и возмущалась: «Мы церковь Спасителя нашего, мы хранители Его завета?! Где же, где эта церковь?» «Мне кажется иногда, что я зрячая среди слепых, я ясно вижу пропасть, которую они не видят», – записывала она в дневнике.

Платоновы издавна посещали расположенную по соседству церковь Морского корпуса. Алексей Алексеевич привел Варвару Александровну на Киевское подворье – тут же поблизости – к единоверцам, чем в ее семье остались недовольны.

Ухтомский по фамильной традиции принадлежал к старообрядцам-поповцам. Ярославское Заволжье, где он родился, было заселено староверами «Филиппова согласия»: их строгие жизненные правила влияли на княжескую семью, и Алексей Алексеевич был воспитан преданиями «этого замкнутого, и в то же время коренного русского крестьянства». В Петербурге он участвовал в деятельности Единоверческого братства: избирался членом совета в Никольском приходе, заведывал там – безвозмездно – реальным училищем, пребывавшим под покровительством императрицы Александры Федоровны, а в июле 1912 года был избран старостой Никольской церкви. Среди единоверцев князь Ухтомский пользовался безусловным авторитетом как ревностный служитель «древлего благочестия» и как эрудит-богослов.

Приход Варвары Александровны к единоверцам сулил ей исцеление от затянувшегося душевного разлада, и она регулярно посещала Никольскую церковь, где время от времени вел службу Ухтомский.

...В июле 1911 года Варвара Александровна путешествовала по Волге. В Рыбинске она навестила кладбище, где были похоронены родственники Ухтомского. В молитвенном отрешении «беседовала» с незабвенной тетей Анной Николаевной, – и та как бы велела ей «не оставлять Алексеюшку», прощать ему нечаянные слабости и грехи.

Варвара Александровна размышляла тогда в дневнике: «Что в нем худое, что хорошее?» Хорошее – устремленность к Богу, к Абсолютному, его молитва, жажда красоты духа. Худое – «его недолетания», вечное «быть или не быть?», разъедающее «что если?». Он представлялся ей большущей птицей с сильными крыльями. Мощно подымается эта птица ввысь и плавно парит в лазури неба. Но скоро опускается на землю, а здесь «невидимые руки уже расставили силки, и попала в них моя птица, опутаны ноги, и прыгает она, а крылья повисли бессильно!» Птица эта, «странная, прекрасная высоко над землей», не может долго оставаться в горнем мире и спускается опять на землю, «чтобы жить-страдать».

Варвара Александровна укоряла Ухтомского за неуверенность и нерешительность, ту самую нерешительность, в которой, по Гамлету, $\frac{3}{4}$ трусости и $\frac{1}{4}$ мудрости, а у Алексея Алексеевича « $\frac{3}{4}$ трусости надо разделить пополам: $\frac{3}{8}$ ее и $\frac{3}{8}$ лени, самой простой, обыкновенной, нас убивающей лени». Ухтомский, убедилась она, несомненно добр. Слаб ли? И да, и нет. Во всем второстепенном, в мелочах он податлив, но в «вопросах решающего, важного значения» силен. Он знает, чего хочет. «Одна из его слабостей, – сетовала Варвара Александровна, – это женщина, сам признается, и как он противен в ней иногда! Правда, он и в этой слабости силен, силен своей молитвой, своим знанием ее, и мне думается, – надеялась Варвара

Александровна, – что он, как Лев Николаевич Толстой, в конце концов освободится от нее. Толстой освободился – женившись, и Ухтомский тоже...»

Наверное, самым болезненным моментом в их долголетних отношениях стала весна 1912 года.

Вот-вот они должны были обвенчаться. 16 марта Варвара Александровна записывала в дневнике: «Сегодня исповедь, завтра причащаться. Меня спрашивают, чему я радуюсь? Я не радуюсь, а радость помимо меня получается оттого, что мне легко, а легко потому, что на Духу сказала то, что мучало, угнетало мое самолюбие, мою гордость, что не давало покоя. Я отцу Виктору сказала: что выхожу замуж, что люблю моего жениха больше, чем он меня. Сказала, и сразу так хорошо стало, ведь Христу, заповедовавшему нам любить друг друга, призналась и громко в первый раз и, может быть, в последний сказала: „Я люблю его больше, чем он меня“, и в этом нет стыда...»

Это был пик ее душевной готовности. Ее полного самоотречения ради любимого человека. Ради их будущего счастья. Но в очередной – какой уже по счету раз! – дело застопорилось, и ее отчаянный порыв не был услышан.

В письме от 11 августа Ухтомский, неуклюже оправдываясь, объявил: «Что-то внутреннее и очень серьезное в моем отношении к Вам не допускает этой так называемой „теплоты“, т. е. открытой теплоты! Помните, я когда-то говорил Вам, что мы никогда не будем на „ты“? И это мое серьезное чувство. Я не могу и не должен допускать этого „ты“. Может быть, это только „покамест“. Не знаю. Я чувствую это так глубоко, что считаю это голосом совести».

Лишь невинным смущением и привычкой подавлять «страсти», блюсти чистоту в своей «ученой горнице» такое поведение Ухтомского оправдать нельзя, – как бы Варваре Александровне этого ни хотелось. За невнятными извиняющимися фразами скрывалась убежденность иного, сурового свойства. Ухтомский объяснял: «...и в моем писании Вам, и в Вашем говоре самой с собою много чисто человеческого; но надежда и молитва моя в том, чтобы *главное-то принадлежало Божиему голосу в нас, и постепенно, рано или поздно, голос Божий пересилит все остальное, – все остальное исчезло бы и сгорело в нем*. Вот таков образ всего мира...» «То, что ярче и горячее горит, – возглашал Ухтомский, – скорее приходит к цели своей – сгореть, чтобы исчезнуть в Боге».

Это уже был взгляд, исключающий всякие компромиссы с греховной обыденностью – *человеческое* всецело подчинялось *воле Божией*. И похоже, Ухтомский перед житейской суетой не пасовал, а последовательно держался однажды избранной линии поведения. В октябре 1912 года он вновь просил Варвару Александровну отложить их венчание до рождественских каникул...

Как развивались их взаимоотношения в дальнейшем?

Внешне все оставалось по-прежнему. Переписка с той же степенью доверия продолжалась. Ухтомский, так и не решившийся на свадьбу, не меньше, если не больше, нуждался в человеческом участии Варвары Александровны. Однако в ее душе что-то дрогнуло, надломилось, исчезла свежесть надежды. Забыть, разлюбить Алексея Алексеевича и порвать с ним она уже не могла, но сама ее любовь преобразалась и все чаще напоминала материнскую заботу, бескорыстное служение брату по вере.

Варвара Александровна еще пыталась как бы по инерции втолковать Ухтомскому: «Счастье мое было в *сознании*, что Вы, признавая меня своей женой перед Богом, не постыдитесь людей, чтобы признать меня таковою перед ними, счастье мое было в *вере* в Вашу любовь, потому что в ней был и мой рост, счастье мое было в *убеждении*, что и в миру можно жить нам в правде Христовой, что церковь соединяет людей не на погибель души, а на спасение. Мечтала я, – Варвара Александровна открывалась до самого доньшка, – когда мы с Богом вместе жить будем, Вы наработаете больше, чем когда каждый из нас в отдельном плавании, что диссертацию Вашу на доктора физиологии защитите Вы великолепно, т. к. Господь дал

Вам много таланта, и скажете мне тогда: я дам людям свою работу, пусть она будет ступенью к дальнейшему восходу родной науки, а мы скажем прости Петрограду, уедем из него, куда поедем? На Урал, в Алтай, куда хотите, там Вы стали бы священником, я Вашей попадьей, а нашими детьми весь приход...»

Таким прежде рисовалось ей их безоблачное будущее, и теперь, преодолевая девичью гордость, страдая, она отказывалась от обманувшей наивной мечты. «Моя мечта, – писала она Ухтомскому, – создавалась Вашим обещанием Божьей жизни, Вы никогда не говорили мне, что мы живем по-Божьи, а всегда – когда мы будем жить по-Божьи, я и думала, что это будет тогда, когда действительно мы будем по-настоящему вместе. Горе мое в том, что разрушалась моя мечта, скрывалась от меня моя путеводная звездочка – наша жизнь с Вами. Боль моя оттого, что Вы сами, потихоньку правда, разбивали мое сокровище, мою надежду...»

Как ни велико было ее чистое, безвинное страдание, как ни тяжело было ей прощаться с пленительными иллюзиями, в ее словах, обращенных к Ухтомскому, нет и следа злого упрека или осуждения. В ее словах слышатся любовь, и печаль, и прощение, и молитва о том, чтобы – пусть и отдаляясь в мирском быту! – им и дальше вместе познавать «величество милосердия Божия», и дальше идти одним-единственным истинным путем.

4

Летом 1914 года в Россию из Европы ворвалась война и провела в истории страны роковую межу, став предвестником великой русской смуты.

Свободно ориентируясь в пространстве мировой истории, Ухтомский безошибочно уловил глобальный масштаб случившегося. Ключевым мотивом развязанной войны он посчитал международную борьбу с «немецким цезаризмом». Нападение Европы на Вильгельма представлялось ему «атакой демократически-революционной стихии европейской подпочвы на последнюю скалу и оплот чистого монархизма». Хорошо это или дурно, опасно или радостно, он предпочитал не комментировать, но намекал приверженцам монархии российской: разве они не понимают, что всякий их удар по Вильгельму есть удар по собственному фундаменту? Будучи убежден – революционная стихия, воспрянув в Германии, разольется по всей Европе и не минует Россию.

«Читая речи по поводу войны, сказанные западными государственными людьми, общественными деятелями и социалистическими вождями, – писал Алексей Алексеевич Варваре Александровне 30 августа 1914 года, – я вижу все яснее и яснее, что мое чутье меня не обманывает: и радикальный британский министр Черчилль, и русский революционер Плеханов, и главы французского социализма, демократии и рабочие партии Европы, они так единодушны и героичны в своей борьбе против вильгельмовщины именно оттого, что они чувствуют одну и ту же основную идею этой борьбы: атаку последней твердыни старого европейского абсолютизма. С этой стороны теперешние военные события – это лишь прелюдия огромных событий, назревающих в европейской социальной жизни!»

Ухтомский апеллировал к Варваре Александровне, сетуя, что подобные предположения не вызывают отклика у ближайших знакомых, в том же Никольском приходе, никто не осмеливается видеть дальше собственного носа, и он не считает нужным прилюдно высказываться о войне. От нее же, от проверенного своего друга, он, как обычно, ждал понимания и просил отозваться на его «мысли и предчувствия».

Она, в свою очередь, скорее по привычке, соглашалась с ним, не вникая в историческую суть происходящего. Варвара Александровна была захвачена патриотическим подъемом и писала, что война вызвала у нее потребность «забыть свое личное дело, отойти от него и раствориться в общем, не знать, не считать себя отдельно, а частицей всего большого народного тела». Она и Алексея Алексеевича побуждала не оставаться равнодушным к всенародному горю.

На каникулярные август и сентябрь 1914 года Ухтомский по обыкновению уехал в Рыбинск, отдыхал в родном углу от «питерского обалдения». В семейном архиве он перебирал старинные бумаги, портреты, давние заметки и заново переживал глубокую связь «со своими отошедшими родичами и дедами, защищавшими Святую Русь на поле брани еще в Куликовскую битву». Среди бумаг отыскалось и его письмо к тете Анне Николаевне, написанное в 1889 году, четверть века назад, где он тогда уже оповещал о скорой войне с Германией, такие настроения витали у них в кадетском корпусе. Тайное убеждение, что война с Германией неизбежна, бродило по России, и лишь «твердый и спокойный авторитет» любимого Ухтомским Александра III пресек в тот час воинственные выходки Вильгельма.

Ныне же, считал Ухтомский, когда «тяжкое столкновение с немецким миром» обернулось кровавой явью, следовало молиться, чтобы война была понята не близоруко и исполнена по-народному «А для этого, – писал он Варваре Александровне в сентябре 1914 года, – надо сознавать с совершенной ясностью, что враг наш германец так ужасно пал нравственно не от того, что он „не культурен“!.. Национальные черты германизма достаточно велики и добры, если из них могли вылиться такие немецкие натуры, как Шеллинг, Шлейермахер,

Гёте, Шиллер и пр. О недостатке „культурности“ немцев даже смешно говорить, особенно нашему русачку!»

Ухтомский утверждал: немцы стали жертвой того господствующего понимания «цивилизации» и «культуры», согласно которому весь прогресс сводится к удобствам городской жизни обывателя. «Это культура авиации, мотоциклетов, спорта, промышленности, комфорта, ватерклозетов, усовершенствованной хирургии, новейших мод, новейшего лечения сифилиса и т. п. и т. п., одним словом, культура исключительно материального человеческого быта при *очень последовательном, систематическом игнорировании христианского понимания культуры и прогресса* как великого нравственного труда личности над собой». Здесь он видел корень всемирного зла, поражающего людей и саму природу с приходом XX века.

Не только немец, забывший о старопротестантской церковности, но человек любой национальности обрекает себя на беспросветное одичание, пренебрегая Божественными стимулами в угоду житейскому благополучию. И потому, призывал Ухтомский: «Не осуждать надо немцев, не ненавидеть их, не поражаться неожиданной их дикости, а надлежит горько подумать: уж если с немцами, при вековой и огромной культуре их, возможно было такое поразительное одичание, то и тем паче со мною случится оно и тем скорее одичаю духовно я, если заболю тою же болезнью „материальной цивилизации“ без Христа! А признаки такой болезни, – не сомневался Ухтомский, – в русском обществе ведь уже есть!»

Духовное одичание, заставшее врасплох европейского человека в дни войны, последствия безоглядного нравственного падения – вот что сильнее всего волновало и возмущало Ухтомского, и в письмах к Платоновой, начиная с 1914 года, он под разными предлогами возвращался к анализу общественных умонастроений, поднимаясь и над казенным патриотизмом толпы, и, кажется, над самой Историей.

Ухтомский проникался вечной трагедией людского бытия, скорбел о грешной христианской душе и не мог уйти от вопроса: как бороться человеку со стихией ада и смерти? Ведь уже в древности бытовали одинаково легковверные рецепты: «перестаньте думать о смерти», «развлекайтесь», «относитесь полегче», вереница «глаголемых мудрецов» от Эпикура до Мечникова мнила на таком пути «победить жало смерти». Но Христос, с его «обостренным подвигом сердца», звал не забывать о человеческой печали, одолевая нечувствие как следствие греха в себе. И если по этому зову «расширить свое сердце», то во всяком положении и при всякой степени довольства, наставлял Алексей Алексеевич Варвару Александровну, человек будет ощущать, что вот рядом с ним за перегородкой «старают дети, не успевшие разглядеть света», исчезают прочные «человеческие гнезда». А безучастный наблюдатель жизни – «тлеет в похотях прелестных», как выразился апостол Павел.

Обычно, когда Ухтомский приезжал в родные рыбинские края, – а в 1915-м и 1916 годах он снова проводил там летние месяцы, – у него просыпалось недовольство Петербургом, «мрачным и грязным, мокрым и болеющим городом», где он не переставал чувствовать себя блудным сыном. Он сокрушался, что в питерском быту и климате он «гладом тает и не насыщается», что город этот унесет его силы и здоровье до срока.

Да, Петербург угнетал Ухтомского, – и не только климатом, но нарочитой ориентацией на Западную Европу, духом скепсиса и аморальностью, прагматизмом и бессердечием «каннибальской общественности». Ухтомский прямо заявлял: «Иногда кажется, что продал я духовное старешенство за питерскую жизнь, как Исав за чечевичную похлебку...» И все же, почему-то именно сюда, в столичный Университет, направился он после Духовной академии, здесь отыскал свою «келью с математикой» и свой единоверческий приход. В этом нелюбимом и раздражавшем его городе, который он до самой смерти так и не покинул, осуществилась его блестящая карьера ученого, создавшего вслед за И. М. Сеченовым и Н. Е. Введенским оригинальную школу в отечественной физиологии.

Недовольство Ухтомского Петербургом не было мимолетным или напускным. Оно было искренним и постоянным. И за этим постоянством скрывался и действовал какой-то тайный механизм, какой-то духовный излучатель, вырабатывавший огромную творческую энергию, извлекая ее как раз из противостояния милых верхневолжских краев, где всегда можно «возобновить» чувство родины, и официозной имперской столицы, из противоположности теплой отчины и казенного, декоративного Петербурга. В их нестихающем борении, когда Ухтомский вглядывался в глубь себя, за их неизбежным конфликтом пряталось что-то неуловимо влиявшее и на его самоанализ, и на воспитание воли, и на понимание общественных реалий.

В 1896 году в статье «Психология русского раскола» В. В. Розанов писал: «Есть две России: одна – Россия *видимостей*, громада внешних форм с правильными очертаниями, ласкающими глаз, с событиями, определенно начавшимися, определительно оканчивающимися, – „империя“, историю которой „изображал“ Карамзин, „разрабатывал“ Соловьев, законы которой кодифицировал Сперанский. И есть другая – „Святая Русь“, „матушка Русь“, которой законов никто не знает, с неясными формами, неопределенными течениями, конец которых не предвидим, начало безвестно: Россия *существенностей*, живой крови, непочатой веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другим, но силою собственного бытия, в него вложенного. На эту потаенную, прикрытую первую, Русь – взглянули Буслаев, Тихонравов и еще ряд людей, имена которых не имеют никакой „знаменитости“, но которые все обладали даром внутреннего глубокого знания».

К последним, богато наделенный от природы даром внутреннего глубокого знания, принадлежал и старообрядец князь Ухтомский.

Петербург олицетворял Россию «правильных очертаний». Ухтомского же старинные родовые узы прочно связывали с Россией «живой крови, непочатой веры». Оба лика России слились в истории как сиамские близнецы, и уродливое их взаимопроникновение ничего не обещало в будущем. Подняв страну на дыбы, царь Петр нарушил предание святой, патриархальной Руси, отверг ее идеалы, попрали *существо* в угоду *видимости*, и, может быть, здесь коренится причина неприятия Ухтомским Петрова детища, Санкт-Петербурга, обреченного на дорогую расплату за выморочную, греховную жизнь.

Ухтомский признавался Варваре Александровне: «Нутро мое предчувствует многие беды», – и сам пугался своих прозрений, звучавших диссонансом в благонамеренном обществе. «Мне лично, – писал он из Рыбинска в 1915 году, – ужасно тяжело за наш *народ*, за тот простой и коренной народ, который сейчас молчаливо отдает своих сыновей на убой, но мне не тяжело за *общество*, за все эти „правлящие классы“ и „интеллигенцию“, которым по делам и мука». Ему претила нелепая иллюзия «боевой интеллигенции» обратить народ в «свою веру», вызвала гнев самонадеянность «благородных» граждан, уповавших на всемирный «прогресс».

Слава Богу, писал Ухтомский, «долго-долго внутреннее чутье русского народа, – здороевое чутье простых и немудрящих, но верных отеческому благочестию людей, – ограждало и остерегало от барских затей». Поминая недобрым словом «поганцев-декабристов» и затейную ими «прелюдию интеллигентской смуты на Руси», он не находил никакого оправдания сеющим рознь «мутным душам», умствующим революционным смутьянам, которых немало наберется в русской истории. Народная душа, знал Ухтомский, взыскует высшего Разума, жаждет божественной справедливости и не хочет мириться с близорукостью тех, кто, вещая о благих целях, не ведает, что творит.

Ухтомского настораживал «нравственный дальтонизм» так называемых «культурных деятелей», способных из чувства социального эгоизма легко впасть «в поножовщину под видом честного дела».

«Русскому обществу грозит великая, тяжкая беда!» – писал он Варваре Александровне в октябре того же года. – Не нужно быть слишком проницательным, чтобы это видеть...

И очевидно, что есть резон для того, чтобы не было нам покоя, ибо в покое современное „культурное“ общество уже окончательно отдает гнилью, тогда как при историческом горении и кипении, которое мы переживаем, по крайней мере гниль-то отбивается! Впрочем, этот исторический суд так страшен, что пока лучше нам не допускать и речей и в преддверии его лишь молиться...»

Варвара Александровна послушно внимала рассуждениям Алексея Алексеевича, вряд ли так постигая их провиденциальный смысл. Социально-исторические проблемы, волновавшие Ухтомского, тот взгляд на мир, какого он придерживался, претензии к интеллигенции и Церкви, сетования по поводу российских нравов и порядков, – все это трогало ее, так как исходило от него, и Варвара Александровна хорошо усвоила свою роль отзывчивого слушателя.

Ухтомский читал в Рыбинске святых отцов и думал о Страшном Суде, признаки которого зримо обозначились: «мир в нечестии своем упорно стоял», «дети жили на счет отцов и настолько, насколько умирали отцы», одно поколение безжалостно съедало другое, мир более не обещал ничего нового, и такому миру, не дающему плода, суждено было с неизбежностью погибнуть.

Варваре Александровне он писал: «Я жду многих и тяжелых бедствий. И нас, вероятно, не минет чаша наказания Божия, ибо те, кто пострадал уже и пролил кровь свою, были не хуже нас, а может быть, и лучше нас. Пришел час воли Божией и надо, чтобы человек, после гордыни и покоя, которым не виделось конца, понял во прахе своем, что он только „земля и пепел“, по слову древних отцов, великое время пришло, и еще придет, блестящее и яркое, как пламя!» Алексей Алексеевич признавался Варваре Александровне – в нем «что-то растет и бродит, и это подчас очень больно, так больно, что сказать нельзя», и крепнет уверенность – «охватывать жизнь как трагедию».

Мировая война потрясла Ухтомского. В нем обозначился резкий душевный надлом. Он жаловался Варваре Александровне, что его тяготит «укрепившаяся самость», «дебелая и тяжелая плоть» и в мирских условиях ему все затруднительнее «сохранять в чистоте острую восприимчивость действительности». «Нередко бывало, что придя к Вам в Петрограде, – писал он осенью 1916 года из Рыбинска, – я вдруг чувствовал, что было бы лучше, если я побывал у Вас, в Вашей комнатке, только духом и мыслью, ибо наличность моего тяжелого и инертного, материального Я только мешает и спутывает то, что живет в сердце и мысли!»

Епископ Андрей назойливо звал брата в монастырь и был недоволен до крайности «досадной девицей» Платоновой, которая препятствует Алексею Алексеевичу стать на стезю безропотного послушания Господу. Варвара Александровна же, несмотря ни на что, выказывала Андрею полное почтение.

Любопытно, что еще в мае 1912 года, сравнивая братьев, она записала в дневнике: «Андрей знает, что сеет, Алексей Алексеевич знает, что хочет собрать, когда же сеет, случается вообразить ему до того, что уверяет, что сеял пшеницу, а на самом деле была рожь... Андрей сразу определил себе дорогу и пошел по ней... У Алексея Алексеевича нет ни способности организатора, даже не способности, а устойчивости, нужной для организатора, ни таланта устройства, он прежде всего мечтатель, философ, а потом уже как необходимость – деятель. Душа и ум у него вместе, душой он в церкви, умом в миру, таким в монастыре быть нельзя... Андрей чудная, яркая, прямая, как стрела, свеча перед иконой, горит она ровным светом и светло от нее не одной душе. Алексей же жжет свою с двух концов, она не прямая, а переломленная в середине, но она все-таки одна, и свет ее, если сольется воедино, прекрасен и силен, ярко, ярко будет! Горит же она, как и Андреева, для Бога».

Тревожные для Алексея Алексеевича месяцы они с Варварой Александровной перемогались вместе. Десять лет знакомства и невзгод не только сроднили и обручили их беспримерным доверием, эти десять лет сформировали личность Варвары Александровны, закалили ее харак-

тер и убедили Алексея Алексеевича, что он «угадал ее», что выбор, сделанный им в 1905 году, был перстом судьбы.

Осенью 1916 года Ухтомский адресовался к Варваре Александровне: «Дорогой друг, если бы я ушел теперь туда, куда меня звали, в Воскресенский монастырь, то это не значило бы, что мы с Вами расстаемся, а значило бы то, что говорил, уходя в пустыню, преподобный Алексей Человек Божий своей невесте: „Пождем, когда благодать Божия устроит с нами нечто лучшее...“ Если Вы были бы невестой моей в обычном смысле слова, то я мог бы решать, „как скажет моя душа“. Но с Вами я не могу не быть вместе, так что вместе же должен решать и уход на служение в иночестве. Когда Вы укрепите меня, у меня будет вдвое сил, чтобы преодолеть себя, свое миролюбие, любовь к родному углу и попробовать быть учеником Христовым...» И тут же добавлял: уйти из университета до конца войны не имеет морального права, это будет похоже на «бегство с поста в критическое время».

Университет он не покинул, а мысль о монастыре в тот момент, казалось бы, оставил. Однако тяжкий путь его духовного восхождения продолжался, его изначальное стремление к самоочищению крепло, и спустя несколько лет – в 1921 году, в обстоятельствах уже совсем иных, не менее беспросветных, – Алексей Алексеевич по некоторым сведениям все-таки тайно принял иночество с именем Алимпий, тем самым как бы окончательно узаконив столь желанное для него положение «монаха в миру».

5

Осенью 1917 года Ухтомский участвовал в заседаниях Всероссийского Поместного собора Православной церкви в Москве и в письме от 14 ноября спрашивал Варвару Александровну: «Как легло Вам на душу это последнее время с новым ленинским выступлением, с „переворотом“ и проч.?» Торопясь предупредить – для него в случившемся никаких неожиданностей нет: «...все это предрешено, и всему этому воистину „подобает быти“ еще с тех пор, – писал он, – как в феврале и марте маленькие люди ликовали по поводу свержения исторической власти; как историческая власть впала в великий соблазн и искушение последних лет; как правящее и интеллигентное общество изменило народу... Одним словом, исходные нити и корни заходят все дальше, и из этих корней роковой путь к тому ужасу, который переживается теперь и о котором надо сказать, что, переживая его лицом к лицу, мы еще и не отдаем себе полного отчета, до какой степени он ужасен!»

...В декабре 1917 года Алексей Алексеевич поехал в Рыбинск – встретить Рождество, но заболел, слег в постель и потом неспешно выздоравливал, со страхом представляя себе возвращение в Петроград. «Ехать, в особенности в Петроград, – писал он Варваре Александровне, – теперь очень трудно. Поезда идут безобразно, неправильно; стекла выбиты; места в вагонах забиты до крайности, так что приходится помещаться чуть ли не на площадках. Как покрепну, выеду. Поджидаю еще себе попутчиков, которые могут оказаться в следующие дни. С ними будет, я думаю, полегче в толпе». Болезнь, однако, не отпускала, непредсказуемость событий не располагала к переездам, и в результате Ухтомский прожил в Рыбинске почти год.

Поправившись, он занялся в охотку физическим трудом. С мыслью, что в грозящий голодом год оставлять землю праздною нельзя, вскопал и засеял два десятка грядок картошкой и горохом; жалованье из университета он не брал, еще раньше деньги, какие тогда нашлись, истратил на облигации «военного займа и займа свободы» – по настоянию брата, от которого теперь из отрезанной чехословаками Уфы ничего не было слышно. Из Петрограда вестями тоже не баловали, и Алексей Алексеевич даже усомнился, не прекратилось ли всякое сообщение с этим городом и не уничтожаются ли письма «буржуев».

Письмам Варвары Александровны из Саратова, куда в июле 1918 года эвакуировали «отдел сборов» правления Рязанско-Уральской железной дороги, он несказанно обрадовался и в ответ рассказывал ей, что большевики близ Рыбинска готовились летом к боям, из Шексны в Волгу привели миноносцы, в городе заметно прибавилось матросов и армии. Обуюнные «гордынными замыслами», большевики хлопотали о соблюдении каких-то «программ»: Ярославская губерния, видите ли, не была подведена под их «партийный шаблончик». Все их замыслы превращались в карикатуру – и она была бы «уморительно смешна, если бы не была ужасна».

Церковь в городе подвергалась унижению и погромам: монашек, с издевательствами, гнали из монастыря, священников грозились забрить в солдаты, появились слухи, что домовые иконы обложат особой податью и службу в храмах прекратят, а в октябре случилось совсем уж отвратительное «мероприятие», – в театр, на «грандиозный митинг», как именовалось это действо в газетном объявлении, собрали в принудительном порядке местное духовенство всех культов и партийные докладчики из Смольного принялись «разоблачать язву религии»...

Ухтомский тогда с наслаждением читал Григория Богослова и Иоанна Златоуста. «Особенно дорого, – делился он с Варварой Александровной, – побыть в стихии этих дорогих отцов именно теперь, когда разыгрывается такая мировая трагедия с необыкновенным значением, когда вздымается опять и опять гордыня Врага и Противника для искушения человечества, и мир испытывается оружием и огнем». У Григория Богослова он натолкнулся на вещие слова: «Боюсь, не есть ли настоящее уже днем ожидаемого огня, не вскоре ли после сего настанет

антихрист и воспользуется нашими падениями и немощами, чтобы утвердить свое владычество...»

«Падения и немощи» кричали о себе, мир европейской цивилизации был взбудоражен и изнурен. «День ожидаемого огня» занимался над XX веком, возвещая неведомые доселе испытания и взывая к покаянию. Это была первая в наступившем столетии мировая трагедия – искушение человечества «оружием и огнем».

Окунувшись в омут событий 1917–1918 годов, Ухтомский постоянно втолковывал Варваре Александровне, что «для очей веры христианской» эти события ничуть не загадочны и «физиономия их ясна». «Христиане предупреждены относительно того, – писал он ей в январе 1918 года, – что имеет быть, и им не приходится ужасаться теми событиями, которые развертываются перед нами. Знаем о том, что должны быть гонительства и жесточайшие попытки истребления Христова наследия! Так что то, что кажется таким *новым* и *небывальным* для самих „творцов“ всех этих новейших дел, оказывается для нас древнейшим, давно *предсказанным типом событий*, свойственным всем тем эпохам, в которые особенно ярко сказывается нравственное падение и растрление общества, но вместе с тем подымается гордыня древней злобы, все пытающейся быть *яко бози*».

Пространство всемирной истории четко просматривалось. Ухтомский словно парил над временными и географическими барьерами, и переживаемая Россией катастрофа воспринималась им как следствие законов, диктуемых грешному человечеству неподвластной ему Волей. Он судил современность высшим судом, неизбежным «перед концом истории», наблюдая воочию «намекательное стечение признаков», предвещающих гибель и христианской культуры, и европейской цивилизации.

Ухтомский расшифровывал эти признаки: «Широкое разлитие легкомысленного неверия Христу в российском „интеллигентном“ обществе, все возрастающее растрление и извращение душ и умов в разных „декаденщиках“, „теософиях“, „кубизмах“, „футуризмах“, растущее углубление разврата, появление Григориев Распутиных, ужасающий спрос на них и вообще на ложных пророков, развивающееся отсюда поругание церкви в соблазняющей народной душе, затем ужасные войны, кровопролития, явно иссякающая любовь в людях, необыкновенно возрастающий спрос на ложь, возрастающая неспособность верить правде, наконец, явное одичание, возвращение к инстинктивной жизни древней обезьяны и свиньи, скрывавшееся до сих пор под культурной скурлупой, с таким трудом надстроенной за историю сознательной жизни человечества!»

Ухтомский не только усмотрел в революционной буре «гордыню древней злобы», стремление черни быть «яко бози», но, к величайшему огорчению, извлек из происходящего и нелестное мнение относительно некоторых черт русского характера.

В июле 1918 года в письме к Варваре Александровне он вспоминал, как они слушали когда-то «Град Китеж» Римского-Корсакова и его поразили образ Кутерьмы. «Не могу не сказать, – писал он теперь, – что тип Кутерьмы, губителя своих братьев и родины, – тип пророческий: Руси суждено пасть от такого безумного, свищущего и пляшущего безобразника, озорника и потерявшего в себе святое! С очень тяжелым и темным чувством вышел я тогда из театра, – душа предвещала, что Китежу надо повториться в близком будущем... Кутерьма, бесовская выюга, кроющая небо (по великолепному стихотворению Пушкина), стадо свиней, сбесившееся и бросающееся в море, – вот образы того, что теперь совершается в России...»

Гневное настроение Ухтомского подогревалось и просочившейся в Рыбинск вестью о расстреле царской семьи. Если это правда, объяснял он Варваре Александровне, то «убиение несчастного Николая II» будет «тяжким, несмываемым пятном на русском народе и на России», и народу «еще придется поплатиться своею кровью сверх того, что заплачено до сих пор!»

Еще в Петрограде Ухтомского мучило «чувство страха пред улицей и пред собранием народа». Это чувство не ослабло и в Рыбинске. Все понятнее было ему состояние старообряд-

цев-странников, ощущавших реально, что «антихристом наполнена земля, осквернена вода, заражены поселения, загрязнен и сам воздух над ними!» И поэтому напрашивался рецепт: «в себе-то самом, прежде всего, сохранить силу и способность жертвовать благами общежителства», ибо, как предвещали древние отцы, «слабые души за кусок хлеба, за малые обещания материальных благ и покоя продадут свои души и веру».

Их переписка с Варварой Александровной несмотря ни на что продолжалась, хотя часть писем, вероятно, пропала, не сохранилась, другие отосланы в спешке, с неожиданно подвернувшейся оказией... Алексей Алексеевич стал в письмах душевнее, искреннее, участливее, а Варвара Александровна еще нежнее, еще упрямее в своем усердии поддержать друга в лихую годину. Она мучалась его заботами и советовала ему подольше оставаться в Рыбинске – там, думалось ей, и посытнее, и поспокойнее, чем в промозглом, свихнувшемся Петрограде, куда без риска теперь было и не добраться.

Варвара Александровна полностью соглашалась с тем, что главное в нынешних обстоятельствах – не уступать козням антихриста. «Сейчас больше, чем когда, – писала она, – видишь и чувствуешь, что человек раб, но хорошо, если он раб Божий, ужасно, если раб Его противника». Она смиренно принимала выпавшие ей на долю испытания и благодарила Алексея Алексеевича за все вместе с ним перенесенное и узнанное за годы их дружбы. Эти годы «почти непрерывной работы сердца и ума чего-нибудь да стоят!» – радовалась она и обращалась к Алексею Алексеевичу: «Кто же создал всю эту сложность, все мои думы, радости и горя, главным образом, 95 % по крайней мере, Вы, ну, значит, и спасибо Вам... Если бы не крест, не неугасимо светящийся свет Распятого на нем, было бы, пожалуй, и иное, было бы зло, а от него спаси Господи *всякого*. Теперь же у меня есть открытый слух к церковному зову, я чувствую величину, чистоту и важность его для жизни, как единственно дающий силу, мужество и полноту. Я рада, что живу, рада, что через жизнь узнала жизнь».

Сама тональность их диалога стала иной, они будто поменялись ролями, и уже Алексей Алексеевич просил душевной милостыни, тратя «последний запас сил». Когда рушились все прочие опоры вокруг, надежным прибежищем оставалась выпестованная ими любовь, и Варвара Александровна сторицей воздавала своему строгому учителю за его старания, принимая на себя роль утешительницы.

Осенью 1919 года Варвара Александровна покинула Саратов и переехала в Москву, где поселилась на углу Тверской и Брюсова переулков, устроившись в какую-то контору делопроизводителем.

Что же до Алексея Алексеевича, то его 17 ноября 1920 года в Рыбинске арестовали, и он спустя год рассказывал Варваре Александровне в письме, как чуть было не стал жертвой тупой власти случая: «Очень я счастливо, по милости Божией, отделался! В сущности только стечением обстоятельств, маленькая бумажка из Петроградского совета, бывшая в кармане, остановила предприятие ухлопать меня еще в Рыбинске! Помню, как в „дежурке“ рыбинской Ч-Ки, в момент окончательного заарестования, солдат сказал мне: „Дело идет о жизни человека“, а затем вошедший, коренастый, пожилой и какой-то весь серый человек голосом привычного бойца со скотобойни спросил, все ли готово, и затем обратился ко мне, как к предназначенной к убою скотине: „Ну, иди...“ Это он пока повел меня в подвал. Но он же потом, как слышно, кончает за углом, в саду, „приговоренных“ и там же зарывает, или ночью увозят их в больницу мертвецкую. Помню, что они были неприятно поражены, когда меня через несколько часов было решено отправить в Ярославль! Это был самый опасный момент!»

Из Ярославля Ухтомского переправили в Москву, на Лубянку, где продержали два месяца, после чего он вернулся в Петроград. Так на его пути возник зловещий «серый человек», который напоминал ему о себе – и в 1923-м, и в 1934-м, и в 1937-м, и в другие приснопамятные годы.

6

А университет в Петрограде переживал унылые, беспросветные времена.

Еще в августе 1918 года Ухтомский опасался, что росчерком всевластного и невежественного пера может быть уничтожена университетская автономия. В ноябре, правда, писал Варваре Александровне спокойнее: «В Университете у нас большевистские порядки сказываются пока мало, – течение жизни почти прежнее. Однако в будущем ожидаются перемены, переизбрания на места и т. под. Должны быть потрясения для многих. Что касается меня, то уповаю на милость Божию и на Его Святую Волю. Я сжился с Университетом, для меня бы была чужда и трудна всякая другая служба. И многого, пожалуй, не удалось осуществить из того, что хотелось сделать и написать, если б судьба велела мне покинуть Университет...»

В декабре того же года он рассказывал: занятия осеннего семестра закончились, Н. Е. Введенский уехал на родину, в вологодскую деревню, и препоручил кафедру ему. «Буду пробовать на праздниках работать, по старой памяти, в лаборатории, – писал Алексей Алексеевич Варваре Александровне. – Хочется тряхнуть стариной и заняться экспериментальной работой, хотя это и похоже на старческое желание подбодрить себя, что – мол, не совсем еще устарел и вот – мол, инструмент не валится еще из рук... Вообще-то настроение тяжелое. Конечно, было бы тяжело пережить изгнание из Университета».

Положение петербургской профессуры, действительно, ухудшалось и ухудшалось. «Смертность ее, – по наблюдениям Питирима Сорокина, – повысилась в 6 раз по сравнению с довоенным временем... Не было ни хлеба, ни тем более других „необходимых для существования благ“. Одни в итоге умирали, другие были не в силах вынести все это – и кончали с собой... Третий унес тиф. Кой-кого расстреляли, моральная атмосфера была тяжелее материальной. Немного профессоров найдется, которые не были бы хоть раз арестованы, а еще меньше – у кого несколько раз не производились бы обыски, реквизиции, выселение из квартир и т. д. и т. п. Прибавьте к этому многообразные „трудовые повинности“ в форме пилки дров, таскания тяжелых бревен с барж, колку льда, дежурства у ворот. Для многих ученых, особенно пожилых, все это было медленной смертной казнью...»

Умер в 1922 году в родной деревне, где ухаживал за парализованным братом, и Николай Евгеньевич Введенский.

О тогдашнем житье-бытье Ухтомского вспоминала его ученица Анна Коперина-Казанская. Она девятнадцатилетней девушкой в 1921 году приехала к нему из Рыбинска с надежной рекомендацией и поступила на биофак Университета. По ее словам, Алексей Алексеевич жил на своей «вышке» совершенно затворнически. Дома у него отсутствовал не только телефон, – сама мысль о котором повергала хозяина в ужас, – но не было и входного звонка, дверь открывалась на условный стук... В большей из двух комнат царила неразбериха. На полу кипами лежали книги, убирать их или стирать пыль с них категорически воспрещалось. Зато в соседнем кабинете, куда заглядывать разрешалось лишь при крайней необходимости, соблюдался идеальный порядок, и шкафами была выгорожена молельная – с иконостасом, аналоем, всегда раскрытой книгой на нем.

То, что Алексей Алексеевич был верующим, вызвало у А. Казанской, равнодушной к Богу, понятное недоумение. Это было ни на что не похоже: университетский профессор, естествовед, физиолог, вдохновлял себя по утрам пением псалмов Давида! И говорил: «Для того, чтобы человек весь день чувствовал себя в рабочем, приподнятом настроении, он должен день начинать с трудных математических задач или же с молитвы». Сам он выбирал последнее.

Замкнутость, потребность в уединении и вместе с тем тяга к живому общению с людьми, будь то студенты или церковные прихожане, были вроде бы несовместимы. Казанская как-то спросила Алексея Алексеевича об этом. И он ответил: «А ведь я живу так не первый десяток

лет и часто очень дорожу своим одиночеством. И разве же я одинок? У меня есть на работе сотрудники, студенты, наконец у меня много друзей, с которыми я переписываюсь. Но ты пойми меня – ведь я монах в миру! А монахом в миру быть ой как трудно!

Это не то, что спасать свою душу за монастырскими стенами. Монах в миру не о себе, а о людях думать должен!»

В летние месяцы 1922 года Ухтомский с группой учеников организовал студенческую практику в Новом Петергофе, в недавней царской резиденции – Александрии. А. Казанская вспоминала, как студенток поместили в бывшем корпусе фрейлин около дворца, в роскошном парке неподалеку от моря; как с утра до позднего вечера они не покидали физиологическую лабораторию, экспериментировали на лягушках и моллюсках; как впервые именно здесь услышали от Алексея Алексеевича о законе *доминанты* – их практические задания все посвящались этой проблеме; как по воскресеньям устраивали прогулки по великолепным окрестностям, а вечерами в гостиной затевали игры, и Ухтомский отнюдь не избегал в них участвовать: «Для него откровением была и новая поэзия, и песенки Вергинского, и в том, как он все это воспринимал, чувствовалось, как еще он был молод...»

Участницей «александрійского кружка» была и двадцатилетняя Ида Каплан. Письма к ней (1922–1924) в эпистолярном наследии Ухтомского принадлежат к самым проникновенным страницам. В них он раскрывал секрет петергофского содружества, – где и учитель, и студенты бодрили, «поднимали друг друга», умели разглядеть в товарищах «алтари», а не «задворки», – и признавался, что был тогда по-особому счастлив. В «творческой идеализации» он усматривал основу человеческого общения: когда человек, забывая о своих амбициях и капризах, и в соседе замечает лучшее и пытается до этого лучшего дорасти. Чаще ведь человек ради самоутешения видит у соседа грехи, какие знает за собой. А для чистого душой – люди чисты. Потому-то, размышлял Ухтомский, «чистая юность умеет идеализировать» и так прогрессивна духом. Приземленная же старость, «если она не сопряжена с мудростью», теряет щедрость сердца, брюзжит и «уже не приветствует вновь приходящей жизни».

Ухтомский писал Иде Каплан: «Радостное и солнечное в прошлогодней Александрии было для меня в том, что я почувствовал в Вас другого, самобытного, мог назвать другом, – и тогда вместе с Вами, с другом стал ощущать красоту... той Истины и Жизни, которая дает смысл жизни и Вашей, и моей, и наших братьев. Вот это – счастье, настоящее счастье, которое тогда нас радовало: счастье не эгоцентрическое, но общее с ощущаемым близким человеком и людьми, не мое, а общее с любимым и любимыми».

Он старался осторожно продемонстрировать своей юной ученице «скудость и мелкоту» натуралистических представлений о жизни и смерти, доказать необходимость «нового опыта», вносящего в повседневную маяту «небывалую серьезность», говорил, что хочет поделиться с ней всем самым светлым, во что научился верить. «Но я не знаю, – объяснялся Алексей Алексеевич, – ничего лучше, светлее и радостнее Христа и христианства. И вот мне так хочется погрузить Вас в эту прочную, верную и нескончаемую радость, победительницу болезни, греха и смерти!»

Судьба бесцеремонно вмешалась в зародившуюся между ними духовную близость. «Александрійская радость» было недолгой, доброе содружество распалось, а Алексей Алексеевич в мае 1923 года вторично угодил под арест в связи с закрытием Никольской церкви.

К началу 1923 учебного года Ухтомского освободили, взяв с него подписку «свои религиозные убеждения держать только для себя и про себя». В августе он поведал Иде Каплан в письме, что вот уже две недели, как его выпустили из тюрьмы, ничего определенного о своем будущем он не знает, изъятые документы и переписку ему не возвращают и письма к нему не доходят. «При желании, – писал Алексей Алексеевич, – могут, конечно, состряпать какое угодно дело о „контрреволюции“, благо это такое удобное понятие по своей растяжимости

и неопределенности... Так что о себе могу лишь повторить Ваше слово: хорошо, что хоть на свободе!»

Ухтомский был признателен Иде Каплан за то, что она всколыхнула в нем «новые мысли», дала осветиться «новым перспективам». Не держа обиды на судьбу, он писал, смиряясь с неизбежностью: «Дни уходят так быстро; события и обстоятельства сменяются так неудержимо; и я не знаю, придется ли мне опять перекинуться с Вами словом, о чем я мечтал и сидя в тюрьме, и скитаясь по выходе из нее. На стене общей камеры на Гороховой кем-то написано: „И это пройдет“. Да, быстро все проходит; и мы сами утекаем, как вода из-под плотины! Проходит и тяжелое и прекрасное!» Ухтомский воздавал Иде Каплан за ее душевный порыв, за то, что в критический час, когда он, запутываясь в «смуте переживаний», чувствовал «живую потребность пересказать свое нутро тому, в ком видел друга», она своим присутствием помогла ему найти «теряющуюся в смуте дней Ариаднину нить» и опять обрести «торный путь под ногами».

Впрочем, были и глубинные причины, разведшие их в разные стороны. Разбираясь в этих причинах, Алексей Алексеевич записывал в дневнике: «Отвергнув от сердца природу, принципиально перестав думать о ней МЫ, человек и сам умер последнею смертью. Предать природу сатане, уступить ее внешнему, как это делали восточные мистики, Платон и манихеи, значит предрешить и свое оскудение... Понятна теперь и моя трагедия 1922–1923 года. Более всего для меня было убийственно возникшее МЫ с И. И. К. Но, беря на себя добиваться закрепления этого МЫ обыкновенным путем, я рисковал оборвать прежнее МЫ с сотаинниками в церкви. Нужно было добиться одного общего МЫ для И. И. К., для всех моих сотаинников во Христе. Ибо иначе я потерял бы и все то, чем мог быть для И. И. К. Все, что я могу дать другу, истекало из моего христианского труда. Красота и правда тут могли быть только в достижении общего МЫ во Христовой красоте...»

Прощаясь с Идой Каплан, Ухтомский писал ей: «Ваше слово „не трогать Вас больше“ я свято исполню... Искал я в Вашем обществе не удовольствия, но счастья, не успокоения, а только Вас. „Ищу не вашего, а вас“, – приснопамятное слово великого человека древности?»

Повторный арест Ухтомского многих студентов испугал и от него отдалил. А. Казанская переехала в Москву. Кое-кто – в их числе Ида Каплан – вовсе оставили физиологию. И все-таки тяготение Ухтомского к молодому университетскому люду не слабело. У него появлялись новые ученики и последователи, и он, отлично зная соблазны и каверзы академической среды, «порядочно искажающей человека», старался застраховать их и от опрометчивых решений, и от несправедливых нападков, и от тупого давления слепых официальных доктрин.

«Серый человек» в России все туже натягивал вожжи и все сильнее нагнул. Ученым с мировым именем затыкали рот невежды, самых талантливых и непокорных выдворили за границу на «философском пароходе» в 1922 году – за ненадобностью. Верующих унижали, загоняли в катакомбы, в подполье...

Тем не менее именно 1922 год, когда Ухтомский с кончиной Н. Е. Введенского принял кафедру физиологии под свое начало и после десятилетних проверок обнародовал наконец свой закон доминанты, – стал безусловно звездным часом в его научной биографии.

7

Недаром еще в молодости интересовался он психологией религиозного подвижничества и задавался вопросом: откуда черпают люди решимость и силу, ступая, казалось бы, за барьер отпущенных им возможностей? Почему они, подчас забывая о страхе, в состоянии, похожем на восторг, восходили на плаху?

Попытки найти физиологические мотивации явлениям такого рода – и множеству им подобным – привели Ухтомского к открытию закона о доминанте.

Доминанта – «рабочий принцип» духовности, объясняющий природу человеческого сознания, идет ли речь об отдельной личности или о толпе. Пространство души, как и космическое пространство, существует согласно имманентному закону, подчиняющему всякую нервную деятельность.

Доминанта, по мысли Ухтомского, «есть не теория и даже не гипотеза, но преподносимый из опыта принцип очень широкого применения, эмпирический закон, вроде закона тяготения, который, может быть, сам по себе и не интересен, но который достаточно назойлив, чтобы было возможно с ним не считаться». В коре головного мозга названный принцип служит физиологической основой акта внимания и предметного мышления, обуславливая в каждом конкретном случае «рабочую позу организма».

Доминанта – форма причинности, которая «держит в своей власти все поле душевной жизни человека». При нарушении равновесия в нервной системе господствующий очаг возбуждения разгорается, привлекая к себе волны возбуждения из самых различных источников. Доминанта и устойчива, и подвижна, она одновременно тормозит все прочие, в том числе и постоянные, раздражители. Угасая, она не исчезает, а погружается в глубину сознания. Наши понятия и представления – все индивидуальное психическое содержание, каким мы располагаем, – есть следы пережитых нами доминант. В подсознании они перестраиваются, давая «неожиданный» всплеск. Так годами вынашиваются сложные замыслы и задачи, прежде чем созреет их решение, «всплывающее» в нужный час.

Через посредство доминант мы в своей деятельности вступаем в контакт с миром и людьми, ибо, утверждал Ухтомский, «мы можем воспринимать лишь то и тех, к чему и к кому приготовлены наши доминанты, т. е. наше поведение». Нам кажется, мы принимаем решение и действуем на основании того, как представляем себе положение вещей, а фактически мы и существующее положение вещей видим сквозь призму наших доминант. «Бесценные вещи и бесценные области реального бытия проходят мимо наших ушей и наших глаз, – замечал Ухтомский, – если не подготовлены уши, чтобы слышать, и не подготовлены глаза, чтобы видеть».

И науки, и искусства, и все отрасли человеческого опыта подвержены влиянию доминирующих тенденций, при помощи которых «подбираются впечатления, образы, убеждения». Мировоззрение, по Ухтомскому, «всегда стоит своего носителя, точно так же, как картина запечатлевает лишь то и так, что и как умел видеть художник». Соответственно и психологический анализ ученого или писателя должен быть «в конечном счете направлен на ту же задачу, что и физиологический: на овладение человеческим опытом, на овладение самим собой и поведением тех, с кем приходится жить».

«Суровая истина о нашей природе, – писал Ухтомский, – что в ней ничто не проходит бесследно, и что *природа наша делаема*, как выразился один древний мудрый человек. Из следов протекшего вырастают доминанты и побуждения настоящего для того, чтобы предопределить будущее. Если не овладеть вовремя зачатками своих доминант, они завладеют нами. Поэтому, если нужно выработать в человеке продуктивное поведение с определенной направленностью действий, это достигается ежеминутным, неусыпным культивированием требующихся доми-

нант. Если у отдельного человека не хватает для этого сил, это достигается строго построенным бытом».

Как важнейшую из доминант, организующих наше сознание, Ухтомский выделял «доминанту на лицо другого». Суть ее в том, чтобы «уметь конкретно подойти к каждому отдельному человеку, уметь войти в его скорлупу, зажить его жизнью», рассмотреть в другом не просто нечто равноценное тебе, но и ценить другого выше собственных интересов, отвлекаясь от предвзятостей, предубеждений и теорий.

Такое мироощущение и мироприятие воспитывается с детства. Урок его Ухтомский получил у тети Анны Николаевны, она на всякого встречного глядела как на самодовлеющее лицо, любила всех, кто нуждался в ее заботе. Под влиянием Анны Николаевны Ухтомский с малых лет привыкал «относиться с недоверием к разным проповедникам человеколюбивых теорий на словах, говорящих о каком-то *человеке вообще* и не замечающих, что у них на кухне ждет человеческого сочувствия собственная прислуга, а рядом за стеной мучается совсем конкретный человек с поруганным лицом».

Счастье, веровал Ухтомский, не в бездействии, не в уюте, не в успехе, а в способности жить, переключаясь на другие лица. «Только там, – писал он, – где ставится доминанта на лицо другого как на самое дорогое для человека, – впервые преодолевается проклятие индивидуалистического отношения к жизни, индивидуалистического миропонимания, индивидуалистической науки, ибо ведь только в меру того, насколько каждый из нас преодолевает самого себя и свой индивидуализм, самоупор на себя, – ему открывается лицо другого, сам человек впервые заслуживает, чтобы о нем заговорили как о лице».

Особо анализировал Ухтомский творческую доминанту, укоренившуюся в сознании ученого, писателя, художника, произвольно привлекающего материал отовсюду, из самых непредвиденных, даже сомнительных сфер. Тут доминанта, подобно магниту, улавливает нужное и оставляет за бортом внимания всё не относящееся к делу. Она дарит ученому или художнику «маховое колесо – руководящую идею, основную гипотезу... избавляет мысль от толчков и пестроты и содействует сцеплению фактов в единый опыт».

Для объяснения закона доминанты Ухтомский прибегал к прозе Толстого. Вот, писал он, «превосходная картина того, как могущественна доминанта в своем господствовании над текущими раздражениями: Пьер Безухов, тащившийся на изъязвленных, босых ногах по холодной октябрьской грязи в числе пленных за французской армией и не замечавший того, что представлялось ему ужасным впоследствии...» Толстой воспроизводит доминанту, вряд ли подзревая в своем художественном изображении научную точность, а Ухтомский дает поведению толстовского героя физиологическую расшифровку. «Только теперь Пьер понял всю жизненность человека и спасительную силу перемещения внимания, – писал Толстой, – подобно тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму». То, что Толстой называл «перемещением внимания», Ухтомский определяет как доминанту: именно она тормозит в сознании Пьера «посторонние раздражители», когда он босой бредет по осенней грязи, не ощущая боли.

Что же касается «доминанты на лицо другого», характерно совпадение трактовки Ухтомским и Толстым чеховского рассказа «Душечка». Толстой в предисловии к этому рассказу размышлял о том, что автору, видимо, хотелось посмеяться над своей героиней: «в рассуждениях, не в чувстве» автора, писал Толстой, носилось неясное представление о новой женщине, «развитой, ученой, самостоятельно работающей не хуже, если не лучше мужчины на пользу обществу». Такой женщине и противопоставляется Душечка – с наивной преданностью и беспредельной готовностью разделять чужие заботы. Может быть, замечал Толстой, эти ее заботы и смешны, «но не смешна, а свята удивительная душа Душечки, с ее способностью отдаваться всем существом своим тому, кого она любит». «Что было бы с миром, – спрашивал Толстой, – что было бы с нами мужчинами, если бы у женщин не было бы этого свойства и они не прояв-

ляли бы его? Без женщин-врачей, телеграфистов, адвокатов, ученых, сочинительниц мы обойдемся, но без матерей, помощниц, подруг, утешительниц, любящих в мужчине все лучшее, что есть в нем, и незаметным внушением вызывающих и поддерживающих в нем все это лучшее, – без таких женщин плохо было бы жить на свете».

Здесь мысль Толстого весьма близка к рассуждениям Ухтомского об *идеализации* того, кого любишь, о свойстве любящего видеть в другом все лучшее и тем нравственно возвышать любимого и себя. «Душечка» Чехова, по мнению Ухтомского, тот редкий случай, когда «доминанта на лицо другого» преобладает в характере человека и не требует от него никаких усилий. «Помните, как она расцветала на глазах у всех, если было о ком мучиться и заботиться, – замечает Ухтомский, – и увядала, если в заботах ее более не нуждались?» Она же совсем не смешная, возражал он читателям Чехова: «Она – человеческое лицо, которому открыты другие человеческие лица».

Обретал себе союзника Ухтомский и в Достоевском. Герои Достоевского искали как раз тот символ веры, какой ученый исследовал и стремился сам исповедовать.

«Моя исходная, первая и последняя задача, – писал Ухтомский в связи с „Братьями Карамазовыми“, – понять, как создается склад восприятия старца Зосимы. Я узнал, что он создается большим физическим подвигом, преданием от других и отношением к миру как к любимому, почитаемому, интимно-близкому собеседнику. Это очень трудный, постоянно напряженный склад восприятия... он необыкновенно ценен общественно, люди льнут к человеку, у которого он есть, по-видимому потому, что воспитанный в этом восприятии человек оказывается необыкновенно чутким, отзывчивым к жизни других лиц... Такой человек обыкновенно наименее замкнут в самого себя и свою непогрешимость. Он привык постоянно и глубоко критиковать себя. Оттого он смирен внутри самого себя и не критикует людей, пока они сами не просят его помочь их беде! Если он и критикует других, то как врач, стараясь рассудить болезнь несчастливому пришедшего...»

Для старца Зосимы «доминанта на лицо другого» была итогом «труда целой жизни изо дня в день». Усредненный же интеллигент, ценящий более всего комфорт самодовольства, по мнению Ухтомского, не решится стать на эту дорогу. Способность открытым сердцем принять мир другого лица, присущая «людям простым и бедным», сплошь и рядом «замкнута о семи печатях для чересчур мудрствующих людей».

Увы, к сим последним Ухтомский причислял и себя.

8

1920-е годы меняли декорации, государство судорожно перестраивалось под нажимом диктаторских лозунгов, – а жизнь Ухтомского текла своей колеей. Он верой и правдой служил университету, читал общие и специальные курсы на биофаке, завоевав репутацию всеми любимого профессора.

Один из его учеников вспоминал, как победительно выглядел Алексей Алексеевич, шагая по коридору Главного здания: высокий, широкоплечий, импозантный, с окладистой седой бородой и откинутыми назад черными волосами, одетый в длинную суконную рубаху, подпоясанную кожаным тонким ремнем; шел по просторному университетскому коридору четким шагом, громко стуча каблуками сапог, – с поднятой головой, держа в одной руке картуз, в другой ненагруженный портфель: шел, как на праздник, с улыбкой отвечая на приветствия, – читать лекцию...

И это в условиях, когда к концу 1920-х годов университет и Академия наук утратили даже относительную независимость и оказались под жесточайшим гнетом партийных властей, когда развернулась «классовая борьба на теоретическом фронте» – с идеалистической философией и «мистицизмом», когда после повальных чисток место ошельмованных, арестованных и сосланных ученых занимала «красная профессура», и биофак университета не был тут исключением. Там подняли тогда голос демагоги-недоучки вроде позорно известного впоследствии лысенковца И. Презента, которые под флагом внедрения марксизма насаждали на факультете нетерпимую обстановку, «опровергали» генетику и плясали свою бесовскую пляску.

Такие обстоятельства совпали с внешней переменой в отношениях Ухтомского и Платоновой. Нет, они остались близкими людьми, встречались изредка в Петрограде, ставшем Ленинградом, и Москве, где Варвара Александровна теперь жила, по первому зову готовы были броситься на помощь друг другу; их сердечная привязанность и духовное родство, закаленное в огненном горниле, ничто не могло поколебать, – только вот их переписка после 1922 года, кажется, потеряла прежнюю интенсивность. Пошла ли она на убыль? Трудно сказать. Писем Алексея Алексеевича к Варваре Александровне за 1922–1929 годы не обнаружено, но судя по всему они были. А сколько писем послала ему она, можно лишь гадать, в наличии сейчас всего два, и письма эти – как странички, вырванные из знакомой книги: на них лежит печать узнаваемого текста с характерной, непередаваемой интонацией.

21 июля 1925 года Варвара Александровна писала: «За последние две недели я почему-то очень тревожусь за Вас, Алексеюшка, какая-то душевная теснота заполняет нет-нет душу, Бог знает, не случилось ли с Вами чего, не больны ли вновь...» Почему – «вновь»? Видимо, когда заболел, он сообщал ей об этом, а она не стеснялась напомнить о себе, если он почему-либо долго не отзывался. «За это время Вы, как было раньше, близко подошли ко мне, – продолжала Варвара Александровна, – я рада этому чувству, потому что не чувствовать Вас своим другом мне было тяжело, вот и захотелось написать Вам несколько слов...»

А в июне 1926 года, посылая Алексею Алексеевичу в день его новолетия сухой букетик полевых цветов, Варвара Александровна напутствовала его: «Христос да пребудет с Вами и днесь, и присно, и во веки веков». И спрашивала: «Увидит ли Вас когда-нибудь Владимирская, взглянете ли Вы когда на нее? Скоро ей праздник и служба». И слова эти звучали приглашением...

В ту пору возникали у Алексея Алексеевича новые привязанности. В частности, он поддерживал теплые творческие отношения – с 1927 по 1941 год – со своими выпускницами-подругами Еленой Бронштейн-Шур и Фаиной Гинзбург. В переписке с ними налицо и обоюдная человеческая заинтересованность, и взаимная симпатия, и драматизм несбыв-

шихся надежд, – и все же эта переписка (как и письма к Иде Каплан) имеет совсем иную душевную окраску, нежели «эпистолярный роман» Ухтомского и Платоновой. Варвара Александровна оставалась для Алесея Алексеевича «сотаинником» и верным спутником при любых обстоятельствах.

Что же до переписки Ухтомского с Бронштейн-Шур и Гинзбург, она очень содержательна, диапазон обсуждаемых ими научных и нравственных проблем богат – от закона доминанты, «двойничества» и концепции «заслуженного собеседника» до христианских догматов милосердия, психологии творчества и толстовского вопроса: «Для чего пишут люди?»

Как возникла странная профессия *писательство*? – задумывался Ухтомский. Не удивительно ли, обращался он в 1928 году к Бронштейн-Шур, «что вместо прямых и практически-понятных дел человек специализировался на том, чтобы писать, писать целыми часами без определенных целей, – писать вот так же, как трава растет, птица летает, а солнце светит. Пишет, чтобы писать!» Прямо-таки физиологическая потребность! Человек почти болен, перед тем как сесть за писание, а написав, проясняется и как бы выздоравливает. В чем дело? «Я давно думаю, – считал Ухтомский, – что писательство возникло в человечестве „с горя“, за неудовлетворенной потребностью иметь перед собой собеседника и друга! Не находя этого сокровища с собою, человек и придумал писать какому-то мысленному, далекому собеседнику и другу, неизвестному алгебраическому иксу, на авось, что там где-то вдали найдутся души, которые резонируют на твои запросы, мысли и выводы!»

Конечно, попадаются счастливицы, не испытывавшие «жажды собеседника». Ни строчки не оставив, эти «вечные собеседники для всех» угадывали «наискреннейшего собеседника в ближайшем встречном человеке», и тоска по дальнему была им незнакома. К таким счастливицам Ухтомский причислял не только праведников, подобных старцу Зосиме или «всемирно гениальных» мудрецов вроде Христа и Сократа, но и обычных деревенских стариков. Если писатели, малые и великие, адресовались к дальнему, пронося «свои гордые носы мимо неопцененно дорогого близ себя», эти любили и вразумляли каждого, кто их слушал.

«Как это ни парадоксально, но это так! – утверждал Ухтомский. – Это, в сущности, уже плохо, если человек вступил на путь писательства! С хорошей жизни не запишешь! Это уже дефект и некоторая болезнь, если человек не находит собеседника вблизи себя и потому вступает на путь писательства. Это или *непоправимая утрата*, или *неумение жить с людьми целой, неабстрактной жизнью!*» Нравственный потенциал писателя, ученого, любого гражданина зависит от того, какие «неабстрактные» отношения им по силам. И мера доброты тем выше, чем богаче и бескорыстнее личность. Не умнее и не учнее, а душевно щедрее!

Мысленное собеседование – разговор, предполагающий адресата и оппонента, – присутствует во всяком писательстве и роднит литературу с наукой. Между ними здесь нет принципиальной разницы. Какие бы системы знаний ни сменялись в процессе исторического развития, за ними неизменно скрывается «живой человек, со своими реальными горящими и жаждой собеседника». Мысленное собеседование требует душевной самоотдачи, гражданского мужества – и не каждому по плечу. Однако именно оно определяет самую способность человека к познанию природы и постижению самого себя.

Не умаляя никак значения разума, Ухтомский отдавал приоритет в познании – чувству, эмоциональной прозорливости. «Интуиция, – писал он, – раньше, принципиальнее и первоосновнее, чем буква». «Сердце, интуиция и совесть – самое дальнозоркое, что есть у нас, – считал Ухтомский, – это уже не наш личный опыт, но опыт поколений, донесенный до нас, во-первых, соматической наследственностью от наших предков и, во-вторых, преданием слова и быта, передававшимся из веков в века, как копящийся опыт жизни, художества и совести народа и общества, в котором мы родились, живем и умрем».

Мир в представлении Ухтомского – не «вещь» и не «механизм», но – «текущий процесс». В переписке с Бронштейн-Шур и Гинзбург он не однажды обращал их внимание на поня-

тие «хронотоп», которое, на его взгляд, пришло на смену старым отвлеченностям «времени» и «пространства». По Ухтомскому, – памятью о хронотопе, – «и траектория электрона в атоме, и траектория Земли в отношении созвездия Геркулеса, и траектория белковой молекулы в сернокислой среде до превращения ее в уголь, и траектория человека через события его жизни до превращения в газы и растворы – все это мировые линии, которые предстоит детерминировать науке!»

«Идея хронотопа в том, – писал Ухтомский Гинзбург в ноябре 1927 года, – что событие не создается, не определяется сейчас пришедшими факторами, – последние приходят лишь затем, чтобы осуществить и выявить то, что начиналось и определилось в прошлом... Человеку странно и обидно думать, что это не он сейчас решает, что делать, но всматриваясь в ход событий, он начинает понимать все более, что то, что решается сейчас, в действительности было предрешено задолго!.. Предрешенное прежними событиями, но требующее созревания и условий извне, чтобы сейчас открыться в действии и для всех выявиться, – вот хронотоп в бытии и доминанта в нас».

Ухтомский верил в природный закон, связывающий «давно прошедшие события с событиями данного мгновения, а через них – с событиями исчезающего вдали будущего». Будущее словно бы вытекает из переживаемого момента и всецело зависит от него. «Полететь в темную мглу предстоящей истории мы не можем», – рассуждал Ухтомский, но мы реально несем в себе тяготу истории как ее участники. И там, «где не достигают более и обрываются наши мысли и старые опыты», прибегаем «к предупреждениям интуиции, поэтической догадки, в конце концов – сердца и совести».

Плакатное благополучие в стране не оставляло места «рецепции на расстоянии», редко кому доступной в рамках истории. Тут требуется особый талант – «такой же, как дар художника, творца, поэта». Дар этот беззащитен. Пророка не слышат, его прозрениям внимают не раньше, чем они начинают сбываться.

9

Как мы помним, в 1921 году Ухтомский принял иночество, а в 1929 (по другим источникам – в 1931-м) он с тем же именем Алимпий (Охтенский) был рукоположен в епископы Русской Истинно-Православной Катакомбной церкви. Он не был действующим архиереем, а лишь получил епископский сан, – дабы в случае необходимости выйти из подполья для открытого служения. Доступные сведения об этом крайне скудны, что вполне естественно, но хотя личных свидетельств самого Ухтомского на этот счет не обнаружено, – такое предположение нельзя игнорировать.

В 1930-е годы Ухтомский жил еще настороженнее, чем прежде. Он совсем перестал доверять почте, письма иной раз подписывал фамилиями из своей родословной: А. Каргаломский либо А. Сугорский, а о себе упоминал как о некоем Лёле (так его когда-то звали домашние). Разрозненных писем этого периода к Платоновой сохранилось немного, но они красноречиво передают моральное состояние Ухтомского тех лет.

Одно из этих писем – от 29 августа 1930 года.

Судя по ласковому тону, душевная связь Алексея Алексеевича и Варвары Александровны ничуть не ослабла, если не возросла. Варвара Александровна уже, кажется, переселилась из Москвы в Калугу: то ли вынужденно, то ли добровольно, поближе к Оптиной пустыни, – с намерением в тихом провинциальном городке скрыться от преследований за веру, а может быть, имелись тому и другие причины. Московскую квартиру своих друзей в Брюсовом переулке она навещала наездами, и квартира эта стала передаточным пунктом их писем, доставлявшихся обычно с оказией.

В августовском письме Ухтомский рассказывал о развившейся у него «приятной, но мучительной способности»: стоит ему закрыть глаза и лечь на бок, как «начинают всплывать с совершенной живостью, во всех мелочах, такие далекие моменты жизни и прошедшие когда-то картины, которые, казалось бы, не имеют уже давно никакого значения для того, что у нас теперь!» Минувшее, «то, что проносится перед человеком за его жизнь», бесконечно богаче и содержательнее, «чем человек успеваает о нем подумать». «Постигать богатство жизни и бытия в достаточной полноте, во всем их трогательном и берущем за сердце значении можно лишь там, – писал Ухтомский, – где не утрачивается способность входить в собеседование с тем Собеседником нашим, к которому мы закричали в первые минуты появления на свет; к которому мы плакали не раз, пока росли; к которому плакали в особенности, когда ушли от нас своею дорогою наши дорогие родные; к которому направим мы и последнее исповедание в нашем конце».

Он не приминул подтвердить, что сам в этой способности собеседования со Всевышним еще более укрепился, не утратив преданности краю своего детства, «смирненно-мудрым людям, рождавшимся и воспитывавшимся в тихом благодатном Заволжье», и еще – в преданности верным друзьям, их участие так ценно в старости.

Мысль о наступающей старости, – а ему исполнилось всего пятьдесят пять лет, – отчетливо звучит в этом письме. Ухтомский сожалеет, что старение для него выражается не в возрастной болтливости, о чем предупреждали еще древние римляне, а напротив – «в громадном затруднении перед тем, как надо говорить».

Алексей Алексеевич сообщал Варваре Александровне: ему предложили перейти на работу в Московский университет, и он отказался, не представляя себе, как он принорювится к столичной сутолоке, если ему тяжело и хлопотливо в привычном Питере, «в относительной тишине». Мечтает же он в будущем году-по достижении двадцатипятилетнего академического стажа – отправиться подобра-поздорову на пенсию. Впрочем, таковы мечты, а как будет в действительности, добавлял Ухтомский, «услышу, что речет о мне Господь Бог».

Таким настроениям Алексея Алексеевича не следует удивляться, он любил преувеличивать свои бытовые неурядицы, однако при всей накопившейся усталости пенсионный, безмятежный покой не угрожал ему никогда. Не та была натура...

Очередное из известных нам писем к Платоновой – спустя четырехлетие – от 2 сентября 1934 года.

«Дорогой друг Варвара Александровна, прежде всего привет Вам от Всякого дыхания, от Владимирской, от Ярого Ока, от Благого Молчания и от Не рыдай мене матери, – пишет Алексей Алексеевич, глядя на домашние иконы. – Весь уголок посылает Вам мир и благословение. А Вы пожелайте от души, чтобы он сохранился подольше в поддержку и в укрепление падающим силам...»

И следом предостерегает Варвару Александровну от излишней откровенности на бумаге. Он имеет основания думать: официальных охотников до их писем хватает, и надо быть «сугубо бдительным, чтобы не разыгрывать пьес по тем нотам, которые тебе представляются сторонними наблюдателями». Его осмотренность вынужденная. «Полоса жизни и истории, в которую мы вошли и в которой приходится идти, – объясняет Алексей Алексеевич, – полна научения и содержания для того, кто имеет открытым слух и способность видения. Но вот чтобы сохранять слух и способность видеть, нужна бдительная дисциплина внутреннего человека...»

Среди неперемных условий этой бдительной дисциплины – умение «оградить себя молчанием». Алексей Алексеевич приводил в пример египетских пустынных, они при встречах не нарушали молчания, а «посидев один у другого и сказав привет и пожелание братским поклоном, уходили опять к себе». Он просил Варвару Александровну: «Что бы ни случилось еще впереди, надо бывать друг у друга самым главным – сознанием общности делания». Можно ведь встречаться ежедневно и молчать по существу, как бывает сплошь и рядом у людей, «болеющих нечувствием». А внешнее молчание пустынных было для них красноречивым и зывало: «Как подвигаешься, как твои паруса, благоприятно ли ведешь свой корабль под ветрами?» Ухтомский не сомневался, что ее корабль «держится на волне хорошо, и курс его правилен».

Плохо скрываемая тревога пронизывает это письмо. Чувствуется, как Алексей Алексеевич преодолевает себя, дабы в одночасье не оплошать перед очередными общественными фантазиями. Меняется исторический ландшафт страны, «прерывается прежний пейзаж ради новых насельников». «Ну, да это все неважно, – прибавляет он в конце письма, – а важно то, о чем напоминают эти перемены. Надо отвыкать от привычного и готовиться к новому...»

Удары, нанесенные стране в те три года, что отделяют это письмо от следующего, нам известного, помеченного апрелем 1937-го, – превзошли самые мрачные прогнозы. И все же середина 1930-х оказалась для Ухтомского чрезвычайно плодотворной. В 1934 году он возглавил образованный по его инициативе научно-исследовательский Физиологический институт при университете и, определяя стратегию работ, наметил направление «более широкого и общего значения, чем обычный путь классической физиологии», поставив целью изучать проблемы человеческого сознания комплексно, заложив первым в стране основы физиологической кибернетики.

А в 1935 году Алексей Алексеевич принял участие в XV Международном физиологическом конгрессе, который проводился в Ленинграде и в Москве. Накануне конгресса издали на английском языке сборник его статей; доклады его учеников тщательно готовились в институте; когда в Ленинград съехались крупнейшие ученые мира, Ухтомский с ними встречался и беседовал; на заключительном заседании в Москве он прочел по-французски блестящий доклад «Физиологическая лабильность и акт торможения».

Делясь тогда впечатлениями с Гинзбург, Ухтомский с удовлетворением отмечал близость проблематики «университетской школы» с идеями ученых Сорбонны и досадовал на И. П. Павлова и Л. А. Орбели, не стеснявшихся отодвигать университетскую физиологию на задний

план. «Со своей стороны я, – писал ей Ухтомский, – предпочитал вести себя и наши дела так, как будто мы совсем не замечаем подвохов и интриганства с их стороны».

Не удалось избежать «подвохов и интриганства» и в университете. Нашлись люди, которые из соображений карьеры пытались скомпрометировать доброе имя Ухтомского, вносили разлад в дружный, годами пестуемый им коллектив единомышленников. На кафедре завелись склоки и наушничество. Ухтомский с тяжелым сердцем наблюдал, как недавно еще порядочный человек, раздавленный морально, становился способен на всяческие низости и незаметно для себя превращался на глазах «во что-то неузнаваемое». «Только по инерции самозащиты и стихийного самоизвинения» продолжал такой человек самооправдываться, когда от прежнего в нем уже не оставалось «ничего, кроме имени и оболочки».

Подобные падения удручали Ухтомского сильнее личных обид. Когда руководителям кафедр вменили в обязанность доносить о политической неблагонадежности своих сотрудников, он, разумеется, это категорически отверг. Вступаясь за тех, кого пытались обвинить в «контрреволюции» и прочих грехах, возражал: «Во всех случаях решать должен я, и ответственность несую я. Итак, предоставьте мне вести дело так, как беру на свою ответственность я. Иду по карнизу, над пропастью... Я все время рискую. Не давайте же мне под руку советов. Отвечаю за все я...»

Весна 1937 года была беспрецедентной по накалу политических провокаций. «Под влиянием „активов“, проходивших у нас в апреле, – жаловался Ухтомский Гинзбург, – я так устал нравственно и нервно, что уже от небольшого добавочного дела сбиваюсь в состояние острого утомления... мне пришлось просидеть в непрестанном напряжении три дня „актива“ в нашей лаборатории и два дня „актива“ же в Институте Орбели. Это очень тяжело и расточительно для нервной системы старого человека. Между тем предстоят и еще „активы“! Пока мы их проводим, за граница ведет подлинные научные работы, так неузнаваемо перестраивающие нашу науку!...»

В такой обстановке письма в Калугу служили Алексею Алексеевичу целительной душевной разрядкой. Из отправленных им в 1937 году известны два: от 6–7 апреля и от 12 декабря, письмо, адресованное Клавдии Михайловне Сержпинской, ближайшей подруге Варвары Александровны, подписанное именем, взятым из родового древа – А. Сугорский.

В апрельском письме, в день Благовещения, Ухтомский признается, как неудержимо захотелось ему сказать сестрам Платоновой «родственное слово», порадоваться их слаженной жизни и (вероятно, узнав накануне о смерти Юрия Александровича, брата Варвары Александровны) он вспоминает о своем первом посещении дома Платоновых на Васильевском острове осенью 1905 года.

Мысленным взором охватывает Ухтомский промчавшееся время: «Как много, много пронеслось с тех пор! Целые картины и трагедий, и драм, и комедий, а потом опять трагедий и трагедий!.. Все-таки *трагедии в человеческой жизни преобладают!* А отчего же? – спрашивает Ухтомский. – Мудрые люди сказали и продолжают говорить: от греха! Испорчена, болезненна жизнь, в ней есть внутренний порок, и порок этот есть грех». И далее он размышляет на излюбленную тему о том, что человеку не хочется «бдительно-непрестанной» работы и он все придумывает, как бы пожить в свое удовольствие. «Но жизнь упорно, настойчиво и твердо поворачивается трагическими своими сторонами, звучит опять и опять басовыми тонами, грозными раскатами, и все опять напоминает, что не для банкетов и увеселений мы здесь, „друзья“!»

Ухтомский любил повторять: люди на земле скитальцы, не имеющие «зде пребывающего града, но грядущего взыскующие». Недаром с детства влекли его заволжские странники-старообрядцы, незадачливые «темные мужики», объявлявшие грехом любой намек на оседлое постоянство, бежавшие «ото всего этого кровавого и блестящего тризница» и считавшие, что жизнь – вся в стремлении, движении. Он неизменно чувствовал себя рядом с ними,

«а не с исправниками, священниками и профессорами, хотя и попал сам в профессоры!» Об этом Алексей Алексеевич говорил десять лет назад, в 1927 году, в письме к Ф. Гинзбург, с гордостью называя себя «профессором-странником», который не верит никаким идолам, – но теперь на дворе стоял год 1937-й, и вопрос: куда «позовут ехать далее»? – имел зловещий подтекст.

В декабре, приветствуя морозную зиму, Ухтомский писал калужанам, что нынче, в пору общественного ненастья, как никогда дорог покой «за светящимся окошком». Представляя, как живут люди под белой снежной шапкой на крышах домишек в тихих городках и деревнях, признавался: «Мне иногда ужасно хочется носиться невидимкой по ночному воздуху, чтобы слетать то к одним, то к другим моим друзьям, заглянуть к ним, чтобы знать, что они там сейчас делают, как сидят, о чем говорят, счастливы ли, сыты ли, чем озабочены...»

Четыре письма Ухтомского 1938 года посланы на имя той же К. М. Сержпинской.

Он отлично сознавал, что к Варваре Александровне они попадают через вторые руки, что причины посторонние не позволяют вести в этих письмах открытый разговор, что слова вообще не могут передать всей глубины переживаний, – и тем не менее, он старался всячески эту хрупкую связь поддерживать, зная, как радуют такие весточки: с размышлениями на случайные темы, с привычными поздравлениями к праздникам и воспоминаниями о, казалось бы, пустяковых эпизодах давно минувшего. Письма эти самоценны: даже сквозь «нейтральный» текст прорываются в них и жгучая боль, и горечь утрат, и смятение в ожидании будущего.

В этих письмах Ухтомского отчетливо художественное начало, хотя он, разумеется, никогда не преследовал чисто литературных целей. Картинки былого, мимолетные портреты ныне здравствующих знакомых или людей полузабытых получают под его пером выразительное пластическое воплощение. Наблюдательный и неравнодушный рассказчик, он непроизвольно воссоздавал в своих письмах колорит меняющейся на глазах исторической реальности.

Весной 1938 года Алексей Алексеевич привычно ссылаясь на усталость, «надрывы памяти», не строил планов на лето, говорил лишь о предчувствиях, «большей частью нераспространенных», и вновь тревожился, что «насиженные места придется оставлять».

Самое же огорчительное – его, к несчастью, стали посещать навязчивые дурные настроения, вызванные «внутренним трением сложной человеческой каши, через которую лежит путь». «Одна из несомненных больных линий в нашей жизни, – писал он, – подозрительность. Я ее терпеть не могу, и всегда был рад тому, что мог себя считать свободным от нее. В людях, с которыми приходилось встречаться, я видел в особенности их добрые черты, а отрицательные отводил в сторону. И это помогало завязывать добрые отношения. Теперь я начинаю все чаще видеть в себе именно подозрительность, нездоровую мнительность в отношении людей».

Душевный разлад удручает Алексея Алексеевича, он просит у калужан прощения за редкие ответы, – это не от лени и «произвола», а потому, что в «отягощенном состоянии внутреннего человека» беседы не беседуются. «Надо в самом деле, – повторяет Ухтомский, – учиться мудрому совету: радость моя, огради себя молчанием... Самое прекрасное достояние человека – слово. Но и доброе молчание, о котором мы говорим, есть ведь переживание слова в сердце, внутри, из внятного уважения к нему, дабы то, что будет наконец сказано, было добро в самом деле для всех».

Алексей Алексеевич жил в окружении тех же людей, тех же комнат, тех же книг. «Но события идут по-другому, и нелегко», – писал он Варваре Александровне в 1939 году, – «трудов немало и скорби не оставляют». И вновь он напоминал, что «всяческое самоутверждение в своей тенденции задержаться на настоящем» близоруко. Отдельное человеческое лицо и отдельный исторический момент – «волна в великом море, которое ее катит из необозримого прошлого в далекое, но уже складывающееся будущее». Люди не имеют права застыть в своем эгоизме – и личном, и социальном, и историческом. Преемственность культурного бытия, подчиненная Высшему Закону, «все возрастающая ответственность за историю

мира, за осуществление заветов, начатых родами древними», – об этом беспокоился Ухтомский, наблюдая сдвиги в окружающей жизни и посильно участвуя в ней.

10

В канун 1940-х годов, когда над Европой снова сгустились военные тучи и окончательно обрел силу разноликий фашизм, когда человечеству опять предстояло пройти «через кровь и дым событий», Ухтомскому не давала покоя идея «исторической совести».

В разгар Первой мировой войны он видел признаки неумолимо карающего Суда в безжалостном «поедании» одного поколения другим. О механизме наследования поколений размышлял и в 1927 году на полях поэмы А. Блока «Возмездие»: «По мысли Блока, которой я очень сочувствую, – писал Ухтомский, – рождающееся поколение является закреплением, осуществлением и воплощением тех задатков и неясных замыслов, которые носились в тайне предками и отцами! То, что тогда готовилось в тайне, теперь проповедуется с кровли. То, о чем едва думалось, теперь действует в реальной истории на улице».

Наследуя «задатки и неясные замыслы» отцов, следующее поколение не может не спрашивать: куда же направлялась жизнь и культура отцов? «Была ли это культура зоологического человека – замкнутого в себе и в своей индивидуалистической слепоте к другому – или культура преодоления себя ради другого?» В смене поколений дети либо оказываются историческим возмездием, либо могут стать «усугублением любви и живым осуществлением зачатков будущего мира». Они либо бездумно уничтожают дела предков, сами уничтожаясь своими детьми и внуками, либо продолжают и укрепляют завещанное дело обновленными силами. А. Блок, полагал Ухтомский, писал о родословии, которое являет собой «последовательное пожираение отцов детьми, вроде родословия римских цезарей».

Нечто похожее можно было лицезреть и в начале 1940-х годов. «Культура зоологического человека» ничего не обещала, кроме новой полосы одичания. Предстоял очередной фатальный круг катастрофических испытаний, и роптать было бесполезно, потому что усомнился человек в своем высшем предназначении, «оглушился страстями», принял природу за «мертвую и вполне податливую среду, в которой можно распорядиться и блудить» сколько угодно.

Ухтомский знал, что природа, мир Божий, не потерпят надругательства над собой, ответят на преступления, творимые «просвещенными цивилизаторами», и Россия *существенно-стей* непредсказуемо отреагирует на социалистические умствования – рано или поздно.

Еще в 1936 году Алексей Алексеевич записал в дневнике: «Великие преобразования выразились в том, что Тяпкины-Ляпкины, Хлестаковы, Чичиковы, Сквозники-Дмухановские и Яичницы, сделав усилие „привести себя в порядок“ по Штольцу, объявили категорически, что отныне людям вроде Аввакума Петровича больше в мире места нет и быть не может! В том мире, который они себе создали мысленно, а теперь силятся создать и в реальности, ни в коем случае не предвидятся и не могут быть допущены ни Исая, ни Иеремия, ни Иезекииль! Это все или лишнее беспокойство, или даже дурной тон с точки зрения благоустроенного всемирного мещанства, с точки зрения добившегося своего благополучия кабана!»

Состояние так называемого «счастья», не уставал повторять Ухтомский, превращает человека в существо, тупое сердцем и разумением ко всему, что лежит вне его интересов. До сих пор большинство человечества этого не хочет понимать. «Впрочем, – отмечал Ухтомский, – „большинство“, о котором я говорю, касается собственно тех слоев и кругов, которые приближаются к тому, что теперь называют интеллигенцией». Не питая симпатий к интеллигенции дореволюционной, образованной и думающей, он тем более не жаловал возомнивших о себе невежественных советских выскочек.

Культура «всемирно-устраивающегося мещанства», переступив в отношении к природе черту дозволенного, обречена на катастрофу – по вине ее конструкторов и вдохновителей. «Если для Аввакума Петровича, для Исая и Илии – природа интимный и любимый друг, дающий пример простого послушания законам», то для Сквозник-Дмухановских и Штоль-

цев, писал Ухтомский, это «среда для безответственных упражнений <...>, целиком предоставленная фантазированию в стиле „аглицких парков“ пустоутробного екатерининского барства, или даже в духе садов Семирамиды, или пробуравливания золотого шара, по Угрюм-Бурчееву *И нет достаточно зорких глаз, чтобы увидеть и понять самих себя!*»

В письмах 1940 года Алексей Алексеевич продолжал летать «в шапке-невидимке» в калужский уютный домик, в тихую комнату под абажуром и прикасаться к спасительному миру, призывая друзей «пободрее идти нашими дорогами». Противясь унынию, он писал: «Старики никому не нужны по тем обычаям, которые входят в силу. Поэтому не скажешь, найдется ли угол, где возможно было бы видеть покой и хоть частичное безмолвие напоследках, – а они нужны, чтобы собраться с мыслями и силами! Впрочем, говорить по этим направлениям – значит так или иначе малодушничать...»

Алексей Алексеевич посылал Варваре Александровне с оказией гостинцы и деньги. Она выполняла обязанности «казначей для друзей», навещала заболевших, служила пользе милосердия, «чтобы обогреть, обрадовать людей, а за то обогреться и обрадоваться от них». И Ухтомскому хотелось, хоть чуточку, «быть участником этого доброго, тихого и охраняемого своим смирением – собеседования и дружеского уголка, в котором доводится быть нашим милым василеостровцам». Он писал им, что всякий раз по дороге в университет вспоминает их давнее житье-бытье, посещения Киевского подворья, которое нынче «молчаливо и холодно за своими запертыми дверями».

Ухтомский сообщал калужанам, что располагает достоверными данными – все его почтовые отправления «регистрируются в любознательных учреждениях». «Я живу в последние месяцы, – признавался он в феврале 1940 года, – разными предвидениями испытаний и перемен, от которых Господь пока отводит, но которые все-таки часто и твердо напоминают о себе. Очень много врагов, сознательных и несознательных, оказывается за последнее время».

«Как трудно идут теперь наши дни и не знаешь, придется ли видеться еще раз, – писал Алексей Алексеевич Варваре Александровне в сентябре 1940 года. – Да и все человечество в целом вошло в какую-то новую, очень тяжелую полосу своего бытия, когда мир вступает в новые муки рождения своего будущего. Вспоминается удивительное слово Иоанна Златоуста: „В мире все течет и нет в нем настоящего вокруг нас. Что же в нем пребывает? Будущее!“ Но будущее, неизменно стоящее впереди, рождается тяжелыми болениями человечества, которых именно сейчас так исключительно много. Читаешь о том, что делают люди и что делается с человечеством в Лондоне, в Берлине, и ноет душа тупой болью. Между тем, сбывается то, что так наглядно описывали задолго до наших лет...»

Тень сгущавшейся над миром катастрофы усиливала душевную ранимость. А тут еще на калужан навалились хвори и несчастья, у них умирали близкие. Seriously болела Варвара Александровна, и Алексей Алексеевич подбадривал ее: «Но Вас не покидает Ваш петровский отец и руководитель. Строится дом душевный». И тоже жаловался на «препятствия и боления». Случилось ему, как писал он в июне 1941 года, лежать в Обуховской больнице, куда он попал после долгого обморока и где помимо «собрания старческих болезней» обнаружили у него эмфизему легких, обострение рожистого воспаления ноги, и – что самое обидное – «начало заметно сдавать сердце, наследственный недуг Ухтомских».

А через считанные дни налетела трагическим смерчем Отечественная война.

В самый канун ее, в мае 1941 года, Ухтомский записал в дневнике: «Выдумали, что история есть пассивный и совершенно податливый объект для безответственных перестраиваний на наш вкус. А оказалось, что она – огненная реальность, продолжающая жить совершенно самобытной законностью и требующая нас к себе на суд!»

«Огненная реальность» запыхала по России, и Ленинград быстро оказался в кольце блокады.

С августа 1941-го до июня 1942 года Алексею Алексеевичу и Варваре Александровне не удавалось «перекликнуться словом», а в июне он сообщил ей, что был счастлив, получив ее письмо, что он «болен и слаб от ноги, которая делает его калекою, и от пищевода, который дурно пропускает пищу». Однако он не теряет надежды «войти в свои прежние занятия», для чего придется переезжать на Волгу. Работать Ухтомский не переставал: преодолевая боль в ноге, добирался до Университета, читал там доклады, оппонировал на защите диссертаций... Сотрудники Физиологического института постепенно эвакуировались в Елабугу и Саратов, и Алексей Алексеевич говорил отъезжающим: «Я начал работу в Университете лаборантом-хранителем. Вот вы все уедете, а я буду охранять кафедру и институт...» Попытки вывезти его на «большую землю» предпринимались неоднократно, но Алексей Алексеевич словно чего-то ждал.

Он с профессиональным хладнокровием оценивал свое состояние и в июле 1942 года писал Варваре Александровне: «А мне вот стукнуло 67 лет! Срок по нашей семье очень большой. За то и немощи начались, как в старом доме: не успеваешь заметить, где садится сруб на землю, где перекошило угол и стену, а где сдают балки!» В последний раз он обращался к ней 22 июля 1942 года: «Вчера получил Ваше письмо, добрый мой друг, и сегодня, в Магдалинин день, пишу, чтобы не откладывать. Очень ждал я Ваших строк, как Вы наверно чувствуете, там вдали...» Алексей Алексеевич утешал Варвару Александровну: болезнь пищевода не злокачественная, – хотя сам, думается, не питал уже никаких иллюзий.

«Иногда я ем и тогда несколько подкрепляюсь, – рассказывал он в своем прощальном письме, – а иногда ничего не могу съесть за день, тогда очень слабею. Возраст мой для нашей семьи большой и немощи мои в порядке вещей. Жаль, что они совпали со столь трудными, жесткими для отечества и народа днями! Так нужны сейчас все силы. Так легко стать бременем для окружающих: а уж это очень больно! Всего, всего, всего Вам доброго, прежде всего – дальнего зрения, которое не давало бы ближайшим и близоруким впечатлениям застилать глаза... Простите и помните Вашего преданного А. У.»

Скончался Алексей Алексеевич 31 августа 1942 года и был погребен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Дальним зрением он дорожил больше всего – и в Первую мировую войну, в пору общего расслабления и духовной смуты, и в «отступнические годы» бесчеловечной революции, и позже, размышляя о «мировых траекториях», уносящихся в «темную мглу предстоящей истории». Дабы видеть будущее, он оглядывался далеко назад, в глубь веков...

* * *

Дневниковые записи А. А. Ухтомского, включенные в настоящий сборник, и его письма к В. А. Платоновой хранятся в Санкт-Петербургском отделении архива Академии наук (ф. 749) и печатаются по ранее подготовленным нами изданиям: *Ухтомский А. Заслуженный собеседник: Этика. Религия. Наука* (Рыбинск, 1997); *Ухтомский А. Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях* (СПб., 1996). В последнем были впервые опубликованы письма к И. И. Каплан-Слонимской, находящиеся в частном архиве. Местонахождение подлинников писем к Е. И. Бронштейн-Шур и к Ф. Г. Гинзбург составителю неизвестно. Письма к Е. И. Бронштейн-Шур впервые были выборочно напечатаны ею в журнале «Новый мир» (1972, № 11), более полно – в коллективном сборнике «Пути в незнание» (М., 1973). Письма к Ф. Г. Гинзбург были опубликованы нами впервые по машинописным копиям в кн.: *Ухтомский А. Доминанта души: Из гуманитарного наследия* (Рыбинск, 2000). Купюры в письмах к Е. И. Бронштейн-Шур принадлежат публикатору. Другие купюры сделаны нами и касаются главным образом пространственных цитат и малозначительных бытовых подробностей. При подготовке тек-

стов А. А. Ухтомского мы позволили себе сохранить некоторые особенности его правописания и пунктуации.

И. Кузьмичев, Г. Цурикова

Решительно отвергнуться себя *Дневниковые записи (1896–1941)*

1896

22 сентября

Возвращаясь воспоминаниями к прошлому, мы обыкновенно с любовью перебираем пережитое нами. «Все то нам мило, что прошло». Но иногда, напротив, является мысль: как все это незначительно и бесцельно, – даже самое крупное из пережитого нами. Мы сами виноваты, если приходим к такому печальному выводу. Самое великое и задушевное, если мы не сумели воспользоваться им для своего нравственного и вообще духовного роста, теряет для нас цену, но вместе с тем мы теряем и это «великое и задушевное».

25 сентября

Мы все стремимся к счастью и хотим быть счастливы; но указать – в чем условие нашего счастья – мы не можем; опыт доказывает нам это. Тем не менее эта неопределимость нашего внутреннего состояния счастья – внешними фактами – не дает основания отвергать самое стремление к счастью, как то делают теологи. Кто может быть счастлив достижением частичных благ – да стремится к их достижению; кто потеряет способность к такому счастью – да ищет высшего, не мешая другим продолжать свою погоню за мелкими благами.

26 сентября

На индивидуальную человеческую жизнь применим взгляд как на временное соединение воедино бесконечно разнообразной сущности природы; это случайно явившееся единство крутится в общем вихре природы, во имя инерции пытается сопротивляться внешнему разнообразию сил, горит собственную свою минутную жизнь, и, именно в силу своей самозамкнутости, наконец, сгорает и самопожирается. Индивидуальная жизнь есть пожар кусочка кальция в океане мировой жизни, есть какое-то туманное пятно в необъятном небесном пространстве.

Чувствуешь, разговаривая с человеком, что стоишь около горячей, волнующейся, содрогавшейся от собственного жара печи, которая наконец не перенесет собственного напряжения и исчезнет в общем мировом безразличии.

29 сентября

Вместе с жизнью человек создает себе так называемое «мировоззрение», т. е. «теорию мира». Но он должен быть всегда готовым, на какой бы ступени развития ни стоял, – отнестись к своему ближнему, отбросив всякую теорию. «Человек прежде всего практик», – говорит Гёфдинг, и потому его теоретические воззрения должны всегда дать дорогу нравственным.

У человека бывают порывы, убедительные для него и определяющие свою правдою, так сказать – логикой правды. Должен ли он им доверять? Не доверяя им – он живет менее чем половиною жизни. Доверять же не может, зная, что его эгоистическая личность и эти порывы правды уживаются лишь в исключительные моменты жизни; доверяя своим лучшим порывам, человек незаметно дает почву и своей эгоистической природе.

Несомненно, бессмертные души и т. п. истины интересуют нас не сами по себе, но по тем *практическим тенденциям, с которыми они иногда связываются*. Там, где нет ясной наглядной уверенности, – нас интригуют наши личные тенденции, заинтересованные двумя вероятностями...

Тема: «Благо познания» или: «Ценность познания». Когда ослабевает наша мыслительная способность, мы начинаем понимать, какого великого блага мы лишаемся. Как хорошо, что мы знаем нечто! (Вся наша жизнь постольку ценна, поскольку мы знаем действительность.)

Тупой эгоизм «верующего», забывающего все в виду своего спасения, – гораздо противнее жизненного и часто плодотворного эгоизма непосредственного человека.

3 октября

Соприкосновение с жизнью доказывает нам, насколько она нам неизвестна и непонятна.

Понятным остается абстрактный, по-видимому общий всем людям, мир законов сознания, так сказать, – мир интенсивной жизни индивидуума. И во имя сострадания мы не имеем права посягать на этот интенсивный мир; между тем всякий шаг в экстенсивный мир, – неизвестный, следовательно, сопряженный с риском, – тем самым является посягательством на интенсивный мир нашего ближнего.

Разумные люди, которых так мало и которые нас так увлекают, – большей частью люди, более или менее отрешившиеся от экстенсивной жизни. Отречение от экстенсивной жизни лежит в знаменитом изречении: *omnia mea mecum porto*.

Глупо называть человека, руководящегося этим принципом, «эгоистом». Это тот, который избавил мир от своей личности, – и он «эгоист»!

Что такое «альтруист»? В теории – «человек, отрешившийся от экстенсивной жизни». В практике – большей частью «человек, уверенный, что он понимает экстенсивную жизнь и поэтому, *из принципа*, посягающий на интенсивную жизнь своего ближнего».

«Ты сделал это? А ведь можно было бы сделать лучше! А ведь этого было бы лучше совсем не делать!» Вот суд разума над действиями воли. Однако надо заметить, что если бы разум разговаривал до действий воли, то не было бы и жизни; поэтому, с одной стороны, жизнь предполагает санкцию разума после санкции воли, с другой – вряд ли достижимо для смертного «самодовольство», которое справедливо считается высшим и единственным его счастьем.

Покамест сама жизнь не будет иметь самостоятельного интереса в глазах ваших, – интереса, большего сравнительно с интересом самолюбия, рисовки и т. п., до тех пор вы не будете иметь самостоятельной мысли о ней.

Забвение – есть успокоение; это так, но ведь это успокоение искусственное; раз явившееся впечатление, раз замутившаяся поверхность сознания уже никогда вполне не успокаивается и не исчезает. Человек хочет забыть то, что он сделал; но это ему никогда вполне не удастся. Всякое человеческое действие потому и важно, потому и заслуживает строжайшего обдумывания, что раз проявившись, никогда не исчезнет, никогда не обратится в «ничто». «Человек уже никогда не будет иметь возможность начать свою жизнь сначала. Он не может уничтожить ничего из того, что он думал, говорил и делал» (Вернер). Наслаждение не воспроизводится памятью; страдание раскаяния – есть преимущественное действие неумолимой памяти.

В глазах разума бессознательные стремления воли представляют не только нечто неразумное, но и уродливое. Потому-то Кант считал уместным скрыть свои увлечения, что ему так хорошо удавалось. Потому-то умный Вельчанинов у Достоевского после приятного и любезного вечера на даче – считал себя «униженным, как никогда, что связался...» Наконец, потому-то так стыдится своего увлечения и так неловко ему вспоминать о нем, когда лет через десять

он встретит человека, который был ему привлекателен. К увлечению и страсти можно относиться снисходительно и с состраданием; но разум не может их оправдать!

Законно ли смешение метафизических понятий с этическими? Мы знаем о них из двух различных источников. Связь их непосредственно не дается; связь устанавливается поэтами и философами. Наука до сих пор считает наиболее удобным рассматривать то и другое как два самостоятельных мира.

5 октября

Будни – это русская жизнь. Тишина, бесцветность, умеренность во всем, кроме неподвижности и лени, – вот черта этой жизни. Все новое – нарушает и пугает будничное спокойствие русского человека. «Праздники» русского человека созданы для «празднолюбцев».

6 октября

Уже в 76 году Менделееву можно было сказать, что «время татарских набегов на науку миновало». Так счастлива наука в университете. Не то – в академии. Татары еще сильны здесь.

6 октября

«Будь тверд в твоём убеждении, и одно да будет твоё слово», – говорил древний мудрец. Легко с этим принципом согласиться, но не легко следовать ему. Мне раньше в момент дела казалось, я был убежден, что делаю хорошо. Теперь же мне кажется, не сделал ли я глупо. Но надо иногда отбросить эгоистическое сомнение в своих поступках и спрашивать только, не оскорбил ли ты своего ближнего своими поступками.

Как бы вы ни силились вашими отвлеченными понятиями отразить ваши чувства, все это будет или недостаточно, или, если достаточно и талантливо, – оно не для всякого понятно. Но замечательно, что женщина поймет вас сразу, если только вы говорите правду. Тут видно, как вы с вашими понятиями удаляетесь, так сказать, выходите из общего мирового бытия, и как ваши понятия, *если они соответствуют действительности*, удобно и просто поглощаются и усваиваются женщинами, этими носительницами истины мирового бытия. У женщин много менее индивидуализации, чем у мужчин, – в этом легко согласиться с Шопенгауэром, уже взглянув на наружность красивой женщины. Но слабость индивидуализации делает их – гораздо более, чем мужчин, – способными носить в себе общую правду; их *субъективация* гораздо глубже, чем у мужчин. Поэтому разговор и общение с женщиной, не отличающейся особенными умственными дарованиями, может быть не менее поучителен и благотворен, чем разговор с талантливым мужчиной.

Человек, прощаясь с любимым им ближним, говорит, что он прощается с ним не навсегда: не может быть, чтобы он его более не увидел, – это неестественно после той связи, которая возникла между ними. Когда же человек настолько сохранит рассудка, что поймет невозможность такого вторичного свидания, то он все-таки переносит время свидания за гроб на небо. К этому старому методу прибегал Гёте, прощаясь с Лоттой. Очевидно, истина во всем этом – та, что нечто – однажды возникшее между людьми – не исчезает.

Что может человек сказать своему ближнему на прощанье? То, что он его никогда не забудет? Ну, положим, это так, но ведь это слишком отвлеченно.

Дать полный отчет себе в каком-нибудь событии жизни может лишь знающий себя; мы же, «узнающие» себя, будем ограничиваться посильно разумным переживанием событий.

Во всяком случае, как пространственный мир реальности есть нечто неопределенное, куда порывается погружаться пылливый ум человека, так и мир психический, разлитый в этом мире пространства, остается для нас навсегда не миром устойчивой определенной жизни, но миром, постоянно требующим познания, следовательно, движения вперед, борьбы... В тумане этого мира где-то затерялись начала, где мы поклоняемся реализации наших идеалов; но эти воплощения наших идеалов уже потому не могут служить нам концом пути, что у нас не может быть с ними идеального общения, – что они «утрачены в тумане».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.